



Александр Чанцев

КНИГИ, ЛЮДИ, КИНО
КОГДА
РЫБЫ
ВСТРЕЧАЮТ
ПТИЦ

Александр Чанцев

**Когда рыбы встречают
птиц. Люди, книги, кино**

«Алетейя»

2015

УДК 821.161.1-43
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Чанцев А. В.

Когда рыбы встречаются птиц. Люди, книги, кино / А. В. Чанцев —
«Алетейя», 2015

Книга почти мультимедийная, ведь в ней сокрыто множество опций. В разделе «интервью» можно поучаствовать в авторских беседах с писателями, учеными, журналистами и даже рок-звездами. Эссе о музыке (от новой классической музыки до U2) заставят, возможно, включить проигрыватель и прибавить звук, а статьи о кино – Вендерса и Пазолини, Аристакисяна и Одзу – вспомнить вечное сияние классики и разделить радость от фильмов недавних. Наконец, эту книгу можно просто читать – в соответствующей части найдутся статьи о самых разных книгах и писателях, от Рушди и Лимонова до Булгакова и Оэ. Объем книги и ее разнообразие прямо пропорциональны ее культурному охвату и интеллектуальным возможностям.

УДК 821.161.1-43
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

© Чанцев А. В., 2015
© Алетейя, 2015

Содержание

А. Бычков. Бескорыстная отрицательность	6
I. Голоса	8
Марина Ахмедова. Правда часто звучит циничней лжи	8
Андрей Лебедев. Брежнев – правитель эпохи «школы для дураков»...	16
Евгений Штейнер. Япония в своё время увела многих советских интеллигентов в сухой сад	25
Дмитрий Бавильский. Автономное инакомыслие искусства	35
Сергей Солоух. «Любое время ассоциируется у меня со смертью»	38
Александр Мильштейн. Расшифровка бетонных снов	43
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Александр Чанцев
Когда рыбы встречаются
птиц. Люди, книги, кино

© А.В. Чанцев, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

А. Бычков. Бескорыстная отрицательность

*«Из социальных тенет индивид высвобождается на самом деле
очень легко – благодаря чтению».*

А. Чанцев

Эта книга обладает странным эффектом расширения сознания. Вдруг ты начинаешь смутно догадываться, что же это такое – современность. В этой книге несколько тысяч имен. Ее перекрестный центонный стиль звучит непрерывной цикадой. Сама размерность пространства вибрирует – интервью, книги, музыка, фильмы. Разлив рецензий и эссе – от Пьера Тейяра де Шардена, Даниила Андреева и истории музыки XX века до Верушки фон Лендорф, Артура Аристакияна и Гаспара Ноэ. Как все это увязать, хотя бы обозначить, расставить концепты, найти адекватный стиль, как все это непротиворечиво назвать современностью? Подобная феноменологическая задача – по плечу Brentano или Гуссерлю. Так кто же автор этой книги? Ему бы разговаривать с Дидро... И здесь вступает в игру Япония.

«Подобно тому, – говорит Клод Леви-Стросс, – как японский синтаксис конструирует фразы, выстраивая понятия от общего к частному, так и японская мысль помещает субъекта в самый конец предложения». Согласно (и подобно) Клоду Леви-Строссу, автора этой книги следовало бы представить в самом конце предисловия, поскольку Александр Чанцев прежде всего японист, автор блестящей книги о Мисиме и Лимонове «Бунт красоты», но... но мы уже начали представлять автора. Чанцев как субъект и вправду необычен. В наши поверхностные времена таких глубоких авторов не должно быть. Времена энциклопедистов и сверхинтеллектуалов давно прошли. Во всяком случае, им не место среди современных критиков, скорее среди критиков современности. Но Чанцев трансгрессор, он опровергает и то, и другое. Чанцев пронизывает насквозь всё. Проще всего сказать, что Чанцев – феномен. Сложнее Чанцева исследовать. Но несмотря на то, что эта книга прежде всего об объекте, складывается портрет и самого автора. Мисима, кстати, не самый любимый его писатель, скорее, Осаму Дадзай «завораживает своим стилем и судьбой гораздо больше», как признается сам Александр. Но фигура Мисимы и здесь, среди прочих японских, да и не только японских, фигур, безусловно, центральная. Здесь даже есть и небольшое эссе «Сакура в крови» – перекликающееся с книгой о писателе.

Позвоночный нерв – нонконформизм. Это настроение звучит и в рецензиях на книгу о Пазолини, на фильмы Аристакияна, на исследование о Данииле Андрееве. И не случайны ссылки на You Tube – Егор Летов, Сергей Калугин. А тот же Салман Рушди попрекается в конформизме. Чанцев не скрывает и своих симпатий к традиционализму. Увы, соратников немного. И в наши фальшивые постмодернистские времена о самом Александре можно сказать то же, что сказано им в его рецензии на книгу Евгения Головина – «рыцарское служение в пустоту». Да, книга Чанцева тоже не для всех и для каждого, и даже, скорее, не для «покупателей». Она для тех «умных делателей», что хотят разобраться с современностью, и не только с тем, чтобы ее опрокинуть вспять, но чтобы найти ее «оси и ризомы». И все равно не хватит целой жизни, чтобы прочесть, прослушать и пересмотреть все разбираемые здесь книги, музыкальные альбомы, фильмы так, как это может только Александр Чанцев. Найти, к примеру, неточности в шестисотстраничном томе славного академического музыковеда Росса, так же, как и у биографа Джойса А. Кубатиева; развить и проанализировать гипотезу о схожести булгаковского Мастера и Даниила Андреева. Так кому же, как не Чанцеву, доверять? Впрочем, если говорить о самых тонких вещах, то доверять автору диктует нам и сам *почерк его письма* – тот узнаваемый многомерный чанцевский стиль, где, по слову Мандельштама цитаты перекликаются цикадами, и где отчасти философическое и меланхоличное (как у Чорана или

Киньяра) вдруг, когда речь заходит о несправедливости и человеческой боли, взрывается крещендо (как у Мисимы). «Гармонии, однако, нет, ведь сама жизнь есть „наихудшая вина“, она и люди („плохих зверей вообще не бывает, только люди бывают *неудавшимися*“) обрекают творение» (из рецензии о Хансе Хени Янне).

И все же *Япония* – этакий культурологический микроскоп-телескоп, через который Александр Чанцев исследует складки *объекта* под названием современность. Синкретизм как принцип, «восточная западность»? Но и не только. Французский философ Александр Кожев (наш русский Кожевников) как-то говорил, что из всех современных народов только японцы еще способны на «бескорыстную отрицательность» и, может быть, потому и станут образцом для будущего глобального мира. И разве этот концепт не ближайший и к русскому читателю? К читателю этой книги. К читателю, а не «покупателю».

І. Голоса

Марина Ахмедова. Правда часто звучит циничней лжи

Разговор с Мариной Ахмедовой, спецкором «Русского Репортера», специализирующимся на Кавказе и острых социальных темах, и автором трех художественных книг – о «Войне», о новых наркотиках, проблемах Северного Кавказа и о том, как журналист может повлиять на общество и власть.

Александр Чанцев: Марина, кем вы хотели стать в детстве?

Марина Ахмедова: Этот вопрос я часто задаю героям своих интервью, но сама не помню, кем хотела стать в детстве. Точно помню только, что и в мыслях не было становиться писателем или журналистом. К семи годам я прочла несколько десятков книг из отцовской библиотеки, ничего в них не поняла, и уверилась, что книги пишут особенные люди. Еще отчетливо помню, как я представляла себя взрослой красивой женщиной в дорогих одеждах, плавающей на яхте. Путешествующей. Там я всегда сопровождала красивого богатого мужчину (романы читать я в детстве тоже любила). В общем, я хотела быть красавицей, на которой женится прекрасный принц. И больше я никем не хотела быть. Но не получилось...

А.Ч.: Как вы пришли в журналистику?

М.А.: Неожиданно и незаметно для себя. Я переехала в Москву, училась и работала секретарем в небольшой издательской компании. Она же выпускала медицинскую газету для врачей и пациентов. Я работала там уже несколько месяцев, и вот однажды заходит ко мне главред этой газеты Наталья Анатольевна Смирнова и говорит, что все журналисты разъехались, и ей некого послать на какой-то медицинский слет писать заметку. Говорит: «Езжай ты». Я испугалась, начала отнекиваться, но она меня заставила. Посетив этот слет, я целый день писала заметку, вымучивая предложение за предложением. Получилось что-то дико официальное и нудное. Но Наталья Анатольевна сказала, что у меня талант. Постепенно я начала писать для нее статьи, за несколько месяцев вытеснила с центральных полос всех, кто там работал, и мне стало тесно. Я перешла на глянец и под псевдонимом написала массу статей о сексе. Дошло до того, что мне платили за полосу удвоенный гонорар. И снова стало скучно. Меня пригласили работать в издательский дом «Секрет Фирмы», я работала там недолго до открытия «Русского Репортера». В этом году «Репортер» отмечает пятилетие своего существования. Я работаю в нем уже пять лет.

А у Натальи Анатольевны болезнь Паркинсона. Уже давно. Я писала о ней репортаж в РР «Ангел мой, пойдем со мной»¹. Она мне звонит, как только увидит меня по телевизору или услышит по радио. У нее нарушена дикция, наши телефонные разговоры звучат странно. Наверное, я в любом случае, и без нее начала бы писать, но всегда нужен толчок. Кстати, Наталья Анатольевна мне звонила сразу после выхода вашей рецензии, Александр, на «Дом Слепых» и сказала, что ей есть чем гордиться. А я ей тогда пыталась объяснить, почему давно у нее не была. Что время у меня, может, и есть, но мне лень себя заставить. Я заметила, что писательство расслабляет, и ты быстро начинаешь наглеть.

¹ Ахмедова А. Ангел мой, пойдем со мной // Русский Репортер. 2008. 22 октября. № 40 (http://rusrep.ru/2008/40/chelovek_sJwleznuyarkinsona/).

А.Ч.: После чтения ваших репортажей у меня сложилось впечатление, что вас не в последнюю очередь привлекают крайние ситуации, радикальные личности, вообще трансгрессивные темы, могущие напугать не только обывателя, но и более впечатлительного репортера. Не говоря о Кавказе, это приют, где усыпляют собак, больные туберкулезом наркоманы... Есть ли в вашем выборе тем вызов самой себе, общественным конвенциям или чему-то еще? Какой вообще критерий определяет ваш выбор?

М.А.: Мой ответ не будет скромным. Первый критерий – я знаю, что у меня есть дар слова. Спасибо за него тому, кто мне его дал. Я знаю, что у меня есть способность уложить увиденное в слова так, чтобы заставить читающих чувствовать и сильно переживать. Не могу сказать, что, находясь в ситуации, например, у наркоманов, от которых я вернулась недавно, я что-то сильное чувствую. Но я чувствую потом, когда сажусь писать. Мои наркоманы были больны не только открытой формой туберкулеза, они еще все были ВИЧ-инфицированы. Несколько дней я провела в напряжении – не наступить на шприц, не позволить кому-то ткнуть в тебя использованной иглой, не показать им, что избегаю прикосновений. Я, кстати, прикосновений и не избегала. Эти мои новые знакомые, как друзья меня вполне устраивают. Мы прожили вместе четыре дня. Да, короткий срок. Но для тех, кто живет в замедленном наркотическом ритме, и кому осталось от жизни немного, четыре дня – это достаточный срок для дружбы. А я тоже погрузилась в их ритм. Я просто не жду от них больше, чем они могут дать. Единственное препятствие к дружбе – то, что они колются крокодиллом, значит, будут жить еще несколько месяцев от силы.

Есть и второй критерий – мои амбиции. Они очень хорошо отразились в выборе этой темы – пожить с наркоманами. Я читала репортажи о крокодиле, много репортажей. И все меня не устраивало, все было не так. На двадцатом чужом репортаже о крокодиле, я решила, что, блин, хватит, поеду сама и напишу.

Третий критерий – возможно, я смогу им помочь. Не факт, но вдруг. Я, вообще-то, никому не бросаю вызовов, подбирая темы. Я их бросаю, когда пишу – тем, как я пишу. Это правда, что когда мне становится скучно, я пытаюсь подобрать для себя что-то нервное, чтобы прожить несколько дней этой темой, какой бы тяжелой она ни была, но не скучать зато. Я, наверное, звучу ужасно, но дело в том, что когда ты попадаешь туда, куда другие не едут, ты отчетливо видишь, что эта ситуация – не радикальная. Она есть, происходит, и какие-то люди в ней живут. В настоящий момент твоего времени и в данной точке твоего присутствия это – вполне нормальная ситуация. И ты ее пытаешься решить вместе с героями. Конечно, я жалею людей в беде. Но что очень важно – жалею потом, когда пишу. То есть, основной критерий – это дар слова. Я знаю, что он есть, и он меня обязывает. Я многим жертвую, чтобы его отработать.

А.Ч.: Т. е. во время самого сбора материала вам, как врачу, важнее абстрагироваться от чужой боли, чем испытывать симпатию. А что приходится приносить в жертву?

М.А.: Я не знаю, важно ли это. Но у меня во время работы выходит вот так. Это не какое-то правило, я правил вообще для работы не вырабатывала, просто так сложилось, и со временем я это отметила про себя. Попадая в ситуацию, я в ней живу, забывая о том, кто я, откуда приехала, какие дела, кроме этого, меня ждут, я полностью включаюсь в ситуацию, как ее элемент. Все происходит естественным образом. Я не могу объяснить, как. Это не расчет. И даже не что-то осмысленное. Я анализирую только после.

Приносить в жертву иногда приходится личную жизнь и людей. Если я вижу, что человек сильно добивается общения со мной, но близким он мне не станет, и общение с ним пустая трата времени, я без церемоний отстраняю его от себя. Но самое главное, что я приношу в

жертву – это время. Мое окно выходит на метро, на оживленную улицу, полную кафешек и людей. Отвернувшись от ноутбука к окну, я со своего рабочего стула вижу, как жизнь кипит. И я начинаю тосковать по жизни, хотя между нами – всего лишь стекло и мое нежелание оторваться от стула. И я думаю – «Какой ужас, Марина, жизнь-то проходит». А когда я выхожу и сижу с друзьями в тех местах, по которым скучала, я говорю себе – «Какой ужас, Марина, как можно так бездарно тратить время. Ты должна работать. Ты должна после себя что-то оставить». Наверное, я во всем звучу цинично, просто там, где можно сказать правду, мне нравится ее говорить. А правда, по моим наблюдениям, чаще звучит циничней лжи.

У меня много разных друзей, и одна из моих близких подруг постоянно говорит, что меня окружает целый театр уродцев. Мне нравятся особенные люди, но обычных я тоже люблю. Главное – чтобы не пытались играть со мной в социальные игры. А так это только кажется, что я проживаю какую-то интересную жизнь, что я и там, и там, и там. На самом деле, мне часто бывает скучно, и сама я довольно скучный человек.

А.Ч.: Вы можете привести случаи, когда ваши тексты действительно конкретно помогали людям? Не утрачивает ли журналистика (да и призывы о помощи в иной форме, в блогах) способности вызывать живой отклик – в нашей стране, где эмоции загрубели от новостей о постоянных катастрофах, где ростки помощи часто заведомо обречены на умирание под бюрократическим асфальтом, где, в конце концов, целый хор нуждающихся в помощи? Или, наоборот, получается так, что государство делегировало нам самим заботу о ближних, и с этим нужно что-то делать?

М.А.: Был репортаж о монастыре², когда нашлись добровольцы, желающие покрыть старую церковь крышей. При этой церкви жил сосланный батюшка, лет тридцати, он держал корову, из молока делал творог, продавал его и ремонтировал церковь в глухой деревне, где мужики постоянно старались крест стащить на водку. А он, батюшка, ночью охранял ее с ружьем. Был репортаж о детдомовцах, когда конкретными детьми заинтересовались. Был репортаж о боевиках «Понять Дракона». Какие-то домохозяйки писали мне – «А что, это правда? А мы же не знали. А если это правда, то давайте что-то делать». Был репортаж «Собаки, улетающие в рай». Единственный мой репортаж, когда я плакала. После его публикации я получила много писем. Основной их смысл – «А я раньше пинал дворняг, я ж не знал. Теперь не буду». «Теперь не буду» – на мой взгляд, гораздо важнее, чем помощь одной конкретной собаке, что, впрочем, тоже важно. Было много репортажей. Вот почему я стараюсь погрузиться и сделать так, чтобы читатель вместе со мной прошел и увидел. Я добиваюсь эффекта присутствия. Я не думаю, что люди стали черствыми. Но когда читаешь – «В Москве очень плохо поступают с бездомными собаками. Законы не работают. Все – козлы и бюрократы! Было уничтожено такое-то количество собак» – никого это, по сути не трогает. Потому что читающий не представляет всего этого. А новости о катастрофах они и есть новости о катастрофах. Короткие сводки. Читая их, трудно представить запах, боль, глаза, кровь. Да, есть большой поток информации, и поэтому журналистика должна меняться. Я об этом так часто говорю, что уже начинаю напоминать себе попугая. Журналистика, особенно такая ее составляющая, как репортаж, должна становиться похожей на картинку. Чтобы читатель видел. Надо не рассказывать, а показывать. Поэтому тут черствость не при чем.

Я все себе сама делегирую. Вот я хочу, чтобы молодые и не молодые люди не вымирали от дешевых наркотиков. И я буду писать об этом, доказывая государству, что эти люди – не лишние люди в нашей стране. И старики в вымирающих деревнях – не лишние люди. Они нам

² Ахмедова М. Праздник послушания//Русский репортер. 2008. 13 февраля. № 5 (http://rusrep.ru/2008/05Audi_idut_v_monastyr/).

нужны. Если они не нужны власти, то они нужны мне. И я против того, чтобы ждать, когда они вымрут. И если депутаты (что само собой) никогда не поедут жить в притоне, то я им покажу, каково это там жить. Я все-таки верю, что совесть некоторых из них не даст им спать спокойно. А, вообще, мне тут два дня Михаил Федорович Липскеров проталкивает идею о горизонтальном устройстве нашей страны, и уже почти доказал необходимость самоорганизации в сообществе. Я тоже придерживаюсь мнения, что общественные организации, составленные из людей, которые любят свою страну и людей живущих в ней не считают лишними – это очень хорошо.

Мы с моими наркоманами ходили в аптеку покупать «ингредиенты» для крокодила. В том городе продажа седальгина без рецепта запрещена. Аптекарьши, с виду сердечные русские женщины, продавали им без рецепта с наценкой в восемьдесят рублей. Они не смотрели им в глаза. Они знали, кому и что они продают. И они понимали, что, зарабатывая восемьдесят рублей, они убивают другого. Я упорно пыталась поймать взгляд одной аптекарши. Она, наконец, на меня посмотрела и покраснела. Ну, можно сказать, что я и для нее писала свой репортаж. Она не должна спать спокойно. Репортаж еще не опубликован, я только вернулась из командировки. Но я точно укажу в своем тексте адрес аптек, в которых эти таблетки продают.

А.Ч.: Кажется, идею горизонтальной (само)организации разделяют сейчас многие. Вы участвуете в протестном движении, верите в то, что оно способно что-то сейчас изменить в нашей стране?

М.А.: Участвую как наблюдатель. Я, как все, заражена общей причиной участия в митингах – там все мои друзья, и я пойду. Ну, еще есть фактор – а жизнь-то проходит. Невозможно оставаться дома, когда в твое время и в твоём городе происходят события. Что потом внукам говорить? Тем более, я журналист. Но хорошо, что мысли не слышны. Если бы пришедшие на митинг могли услышать, что я об этом думаю, они бы меня побили. Меня, безусловно, волнует будущее страны. И я постоянно пыталась рассказать в своих репортажах, как живет моя страна. Когда тех, кто сейчас выходит на митинги, это все мало волновало. Это теперь все стали политизированными и оппозиционными.

Сначала все было отлично – на митингах. Мы сплотились, мы начали бороться. Но потом там появились колонки и звук. И вот тогда я поняла, что между говорящими с трибуны и мной – разрыв. Они меня не знают. Я не хочу слушать тупые или однообразные или не трогающие меня речи. Пиар, борьба за власть, амбиции, личные обиды – все это отчетливо несло из колонок. Во всяком случае, отчетливо для меня. И я все спрашивала себя – ну, почему такое говно-то полезло? Почему мои друзья побежали голосовать за Прохорова, они же не могли всерьез полагать, что он хочет стать президентом? Возможно, это совсем примитивный подход, но, тем не менее, хочется знать. Я говорю своей подруге перед выборами: «О., я не верю, что ты за него проголосуешь. Обоснуй хотя бы». Она делает лицо – «тебе-этого-не-понять», и говорит, что лишь бы не за Путина. Ну, да, мы не в магазине, выбор ограничен, и его делать надо. Но что делать мне, если я никому из них не верю? Я искренне пытаюсь возбудить в себе любовь к протестам. Я прихожу на митинги, в лагеря оппозиционеров, забиваюсь в самую гущу толпы, и начинаю убеждать себя, что протест – это хорошо, что люди проснулись, что общество взрослеет. Но не получается. Убиться мне, что ли? Да, я вижу на всех этих митингах классную молодежь с горящими глазами, но ее так мало. Настоящих там мало. Я вижу променад с собачками, на хвосты которых повязаны белые ленточки. Я вижу, что такие встречи, прогулки и скопления превращаются в вид досуга, образа жизни и, что самое ужасное, в моду. Я воображаю над всем этим тонко разыгранные политтехнологи, когда нам кажется, что решения принимаем мы, а на самом деле, их за нас принимают другие. По Интернету растащили один из лозунгов протестных настроений – «Вы нас даже не представляете». Я думаю, нас не представляет ни власть, ни оппозиция. Мне кажется, что в обществе созрел серьезный запрос на интеллекту-

альное общение. Власть его, понятно, не только не захочет, но и не сможет удовлетворить. Но, кажется, и лидеры оппозиционного движения не очень понимают, из кого составлена толпа, и тоже говорят с нами на более примитивном языке, чем мы заслуживаем. Особенно Навальный. Вот кого я слышать не могу. Он менеджер, ему нечего мне сказать. Я сама могу ему сказать. Немцова и Рыжкова я как-то вообще не принимаю в серьезный расчет. Пономарев мне симпатичен, но, возможно, только потому, что я недавно брала у него интервью, и он, по крайней мере, в разговоре был честен.

Я даже не могу представить, кого я хотела бы видеть на трибуне. Кого я хотела бы слышать. Недавно в одном интервью журналистка-коллега спросила меня: «Есть ли у вас авторитет? Пример для подражания?» Я ответила – «Нет». Потом размышляла над этим, перебирала всех живущих – как же так вышло, что у меня нет авторитета? Но нету. Потом поняла, что мой авторитет – по-прежнему, как и в детстве, 509-й из «Искры Жизни» Ремарка. Вымышленный герой (но таких в те времена невероятных страданий было много, он их собирательный образ). 509-й – заключенный концлагеря, который, не геройствуя, пытался жить и поступать, как человек. Просто, как человек, даже не с большой буквы. Я мечтаю, чтобы люди были такими. О чем это говорит? О том, что я не повзрослела или о том, что современное общество пока не может выдавить из себя героя? Я не знаю. Я, вообще, со всеми этими митингами ничего не понимаю. Но, конечно, если будут винтить моих друзей, куда мне деваться, я пойду – посмотреть.

А.Ч.: Художественные акции «Войны» (начавшиеся еще задолго до московских выступлений оппозиции) и Pussy Riot компенсируют малую политическую силу большим общественным резонансом. Мне кажется, что Pussy Riot довели до логического завершения идею прямого высказывания, идущую от «Войны», которая была (есть) менее политически ориентированной, но тем не менее более радикальной. Как вы относитесь к их деятельности?

М.А.: О «Войне» я делала два материала в «Русский Репортер» – интервью с группой и репортаж с рождения Мамы³ – дочери Олега и Козы. Не все их акции мне близки, но постепенно я пришла к убеждению, что такие люди, как Олег, Леня и Коза любому обществу необходимы. Они озвучивают протест. С таких людей всегда что-то начинается. Воротников, вообще, мало у кого вызывает симпатию, но мне он в последнее время все больше напоминает такого современного святого. Не святош, которые становятся агрессивны, как только у них пытаешься отнять их святость и возможность творить добро. А именно святого в современном воплощении.

У Воротникова масса недостатков, он невыносим, я еще не встречала человека, способного на такой вынос мозга, но я признаю важность его существования. Я знаю, чем он жертвует для того, чтобы делать свое дело. Но для меня «Война» начинается и заканчивается Олегом, Лней Ебнутым и Козой. Какими бы они ни были, они – по крайней мере, настоящие.

В акции Pussy Riot я не нашла таланта. Провокация на религиозных чувствах примитивна и не нова, хотя бы потому, что у «Войны» в свое время была подобная акция – панк-концерт в Таганском суде. И, насколько я понимаю, в реале эту акцию послушать было нельзя – девушки не пели, позже клип был смонтирован. И я не могу отделаться от ощущения, что главной целью участниц было привлечь внимание к собственным персонам. Может, я ошибаюсь, но ощущение мое таково.

Мне не хочется принимать ничью сторону. Между выбранными большинством двумя сторонами всегда есть дополнительные варианты. Меня не впечатлила акция. А в стремлении осудить активисток на семь лет я не вижу ни законности, ни христианской любви и всепрощения, которые, вроде бы, должна демонстрировать церковь. Неразвитые люди, а таких много и

³ Ахмедова М. Мама война // Русский репортер. 2012. 1 февраля. № 4 (http://rasrep.ru/article/2012/02/01/mama_war). 1

среди священнослужителей, думают, что Бог их больше будет любить, если они с пеной у рта будут защищать церковь. А Бог есть любовь. Так написано.

Но я не думаю, что Pussy довели до логического завершения высказывание «Войны». Образно говоря, они нарисовали еще один хуй на мосту, но это было уже не смешно.

А.Ч.: Такой современный юродивый Воротников... Как журналист вы много писали и пишете о Северном Кавказе, все три Ваших книги – «Женский чеченский дневник», «Дом слепых» и «Дневник смертницы. Хадижа» – посвящены теме Кавказа. Что для вас олицетворяет Кавказ, может быть, на уровне ассоциации, ощущения? И возможен ли полный мир – чтобы вы сделали, обладай вы властью не писателя и журналиста, а полномочиями очень властного лица, чтобы между народами установился полный мир?

М.А.: Я бы собрала всех своих друзей, мы бы приехали в школы и проводили там открытые уроки для детей – о ценности жизни. Каждой жизни. Мы бы показывали хронику из концлагерей, животных, покалеченных человеком. Особенно собак, потому что у них очень пронзительный взгляд. Я бы приучала к доброте, которая на Кавказе является признаком слабости, и к терпимости, которой на Кавказе и вовсе нет. Я не знаю, как там поднять экономику, при том что она у нас по всей стране в печальном состоянии. Но на Кавказе есть для этого ресурсы. Я бы просто не была мудаком, который пытается обогатиться любыми средствами. А таких мудаков на Кавказе, как и по всей России, плюнь в чиновника – не промахнешься. Нужно чтобы кавказский мужчина приносил в дом зарплату и мог обеспечивать свою семью. И все. Тогда все само собой начнет выправляться. Пока этого нет, они будут идти то в силовики, то в боевики. Я бы делала хоть что-то в сторону добра. Сейчас там, а я имею в виду, скорее, Дагестан, игра идет на стороне зла. Хотя многие и прикрываются религией, но она у них какая-то по-детски оформленная. Сколько раз в командировках мусульмане мне выносили мозг, но при этом даже мне было ясно, что они очень мало, оскорбительно мало, разбираются в исламе. Там сейчас кипит ужасный котел, и когда пытаешься разобраться, понимаешь, что все спутано. Что все – неправда. Поэтому я бы сейчас остановилась только на экономической базе. Дала бы хотя бы мужчинам мирную работу и посмотрела, что будет. А там можно развивать и виноградарство, и овцеводство, и рыболовство. Там много чего нужно сделать. Только коррупция и кланы навалились на эти республики мертвым грузом, лежат давно и тухнут, а с места сдвинуться не хотят.

Я написала три книги о Кавказе, и так много говорила о Кавказе, что начала стесняться своих интервью. Перестала их выкладывать в фейсбуке. Везде я говорю одно и то же. Поэтому сейчас я написала роман, не имеющий отношения к Кавказу. А следующую книгу буду писать о протестных художниках.

Как журналист я решила сместить акценты в своей работе на Кавказе. Теперь я буду рассказывать о мирных кавказцах так, словно там и не идет война. На следующей неделе в «Русском Репортере» выходит первый репортаж из задуманного мной цикла – о чабанах.

Но, кстати, я должна сказать, что мои книги о Кавказе – не совсем книги о Кавказе. Они – о людях, а ситуация показана через них и их судьбы.

Кавказ для меня – это мини-версия России, в которой представлены все российские недостатки и пороки, но в виду малого размера, они скучены, сконцентрированы, гиперболизированы, принимают гротескные формы и потому глаза колют. Но, по сути, это та же самая Россия.

А.Ч.: В последние годы появилось довольно много книг о чеченской войне – рассказы А. Бабченко, «Патологии» З. Прилепина, «Чеченские рассказы» А. Карасева, «Письма мертвого капитана» В. Шурыгина, «Живых смертниц не бывает» В. Речкалова, «Асан» В. Маканина,

соответствующие эпизоды в «Венерином волосе» М. Шишкина. Есть ли среди них наиболее близкая вам, или же такой книги еще не написано?

М.А.: Я, к сожалению, не прочла ни одной из этих книг. Не могу сказать, что прочту. Я очень хотела прочесть книгу Вадима Речкалова «Живых смертниц не бывает», но в книжном ее не было, а на дальнейшие поиски меня не хватило. Я, кстати, советовалась с ним прежде, чем начать «Хадижу». И он печалился, боясь, что я напишу попсу. Я ему рассказывала, что меня назвали Мариной в честь куклы старшей сестры, и он тогда сказал – «Вот и напиши роман, который будет начинаться со слов „Меня назвали Мариной в честь куклы“. Хорошее начало». Но я написала про смертницу. По-моему, получилась не попса. Еще я, кажется, написала неплохую книгу о чеченской войне «Женский чеченский дневник». И поскольку я других книг не читала, то из предложенного вами списка, в качестве «близкой» мне книги, могу назвать только ее, если вы меня не сочтете чересчур нахальной.

А.Ч.: А что вам интересно и близко из нашей современной литературы?

М.А.: Что-то, наверное, интересно, но ничто не близко. Мне нравится, как пишет Сорокин, но не близко то, что он пишет. Наверное, Лимонов хороший писатель, но я еще не разобралась, только начинаю осваивать его творчество. На самом деле, я пытаюсь припомнить, что из нашей современной литературы я в последнее время читала. Где-то полгода назад меня вдохновили «Шайтаны» Алисы Ганиевой. Но я почти два года ничего не читала – брала книгу в руки и засыпала от скуки. А сейчас снова набросилась на книги. Я просто могу перечислить книги, которые я прочла за последний месяц – «Элегантность Ежика» Мюриэль Барберри, «Карта и территория» Мишеля Уэльбека, «Шоша» Исаака Зингера, «Дневник» Чака Паланика, «Заводной апельсин» Энтони Берджеса. «Заводной апельсин» я просто проглотила. Есть книга, которую я перечитываю уже несколько лет – «По ком звонит колокол», она всегда лежит у меня на диване. Я ее открываю, читаю, но она столь прекрасна, что я не выдерживаю и растягиваю. Еще должна похвастать прочтением книги «Как влюбить в себя любого», автора не помню, но довольно интересно, а главное – полезно. Недавно выяснилось, что эту книгу десять лет назад издала на русском моя близкая подруга. Книга стала первой в только что открытом ею издательстве. И Таня, сказав, что книга – говно, подарила мне другую – «Мигрень» Оливера Сакса. Но мне как-то неинтересно было читать про мигрень...

А.Ч.: Довольно жесткий набор, а Лимонов, по-моему, вам в чем-то близок – хотя бы откровенностью, не-страхом выходить ко всем в своих текстах открытым... Мне показалось, что ваши репортажи и книги похожи в том плане, что фактическая часть статей разбавлена мощной литературной составляющей, а ваши книги, опять же построены, как кажется, на увиденном и пережитом, но при этом читаются как такая современная притча, почти как у Джебрана Халиля Джебрана, о войне и мире, простых людях и их вселенских вопросах, смерти, любви, добре и зле. Вы сказали, что уже написана следующая книга, – о чем она?

М.А.: Спасибо большое. Но она не везде мощная – эта составляющая. Главный редактор Лейбин подтвердит, что у меня была пара неудачных репортажей. Он тактично мне указывал на отсутствие сверхидеи, а я в ответ истерила, что меня просто никто не любит. А Лейбин говорил – «Ну, тупая...».

Я часто слышу о себе – она не журналист, а писатель. Я не спорю, но про себя я с этим никогда не соглашаюсь. Почему в статье не может быть литературы? «Русский Репортер» вообще выигрывает за счет своих репортажей, в которых присутствует литературная составляющая или хотя бы ее видимость.

Роман написан, но невозможно рассказать о чем он – о любви, это прежде всего. О старении, о красоте. О попытке создать шедевр. О попытках понять, что такое шедевр. О страдании. О педофилии. О драгоценных камнях и бусах. О раздвоении личности. О жизни и смерти. Он – смертельный приговор глянцу. Но я надеюсь, что и глянцевые девушки будут его читать. Я слушать не желаю, когда говорят, что это слишком сложно для большинства. Нет, это сколько высокомерия надо иметь, чтобы говорить так о большинстве?!

Мы с моей преподавательницей по технике речи Светланой Корнелиевной на занятиях читали отрывок из него. Она морщилась от омерзения, а там местами, правда, противно. В какой-то момент одна героиня убивает другую, и чтобы описать это, я ходила на вскрытие. Но мне нужны были не подробности и медицинские детали, я-то уже видела, как вскрывают труп. Мне нужна была энергия. Светлана Корнелиевна потом поймала меня в коридоре «Эксперта» и, по-прежнему брезгливо морщась, сказала – «Ну, милая моя, не каждый посмел бы так свое нутро на бумажку выпускать». Но это – не мое нутро! Это нутро всех женщин. Мой самый большой страх, связанный с этим романом в том, что автора будут путать с героиней. А есть и другие страхи. Например, что я написала говно.

АСТ анонсировал, что я буду читать отрывок из романа во время библионочи. Я пришла, собрались читатели, я взяла свои листки и не смогла читать. Когда я поняла, что читать не смогу, мне стало ужасно стыдно и страшно. Я всегда вытягивала большие аудитории, но в Некрасовской библиотеке что-то случилось. И пока вокруг меня прыгали встревоженные библиотечарши, у меня дрожали руки, отнялся язык, и я в ужасе смотрела на читателей, понимая, что не только не могу им читать отрывок из этого ужасного романа, но и вообще говорить о нем не хочу. Такое было фиаско. Но я как-то быстро от него оправилась и предложила поговорить о «Хадиже». Я вообще быстро прихожу в себя.

Я не знаю, удался мне этот роман или нет. Я знаю только, что никогда не буду его читать, потому что он наводит на меня ужас. И никогда не дам его читать своим родителям. Но я все равно решила назвать его «Шедевром», потому что моя героиня упорно пытается создать шедевр, не понимая, что она сама и есть шедевр. Она этого так и не узнает.

Андрей Лебедев. Брежнев – правитель эпохи «школы для дураков»...

Разговор по поводу выхода книги-интервью Евгения Терновского и Андрея Лебедева «Встречи на рю Данкерк» (Франкфурт-на-Майне: «Мосты», 2012) с ярким стилистом, необычным повествователем и преподавателем Парижского государственного института восточных языков и культур Андреем Лебедевым (Париж) о Д. Галковском, БГ, ангелах и антисоветской тишине.

Александр Чанцев: Андрей, Вы начали публиковаться в московской самиздатовской периодике (журналы «Параграф», «Чаша», «След»). Каким был для вас этот опыт – с кем вместе вы печатались, кто был читателем?

Андрей Лебедев: Я действительно вошёл в литературу через самиздат – самиздат перестроечный, второй половины восьмидесятых. Моей основной компанией в этой области была редакция журнала «Параграф», основанного Александром Морозовым и Владимиром Котовым («След» – боковое, котовское ответвление от «Параграфа»), Смысл нашей деятельности выражало – пусть не очень прочитываемо, заслонённое привычным значением – название журнала, предполагавшее существование некоего «около письма» вне номенклатурно-официального по социальному статусу, вне жёстко вколотченного в формальную жанровую сетку.

Чудесная параграфическая компашка, заседавшая на морозовской кухне и не одержимая никакими житейскими амбициями, дала впоследствии из людей известных самого А. Морозова, ныне – главного редактора «Русского журнала», и Сергея Чапнина, занимающего весьма ответственный пост в издательстве Московской патриархии. Тесно связан с «Параграфом» был Дмитрий Галковский – первая публикация отрывков из «Бесконечного тупика» состоялась именно там.

«След» был печатным органом экуменистической общины, объединённой вокруг теплейшего и умнейшего Сандра Риги. Увидел его недавно в фильме «Жара» Александра Архангельского и поймал себя на ощущении, что встретиться мы сейчас, то продолжили бы разговор, как если бы расстались вчера, а не двадцать лет назад.

Читатель – самая таинственная категория литературного процесса, и я сам надеюсь прочитать когда-нибудь академическое исследование о том, кто нас читал. В те времена я воспринимал нашу деятельность как издание «приходских листков» молодой московской интеллигенции, журналов для внутреннего пользования в кругу, где все знали всех. Смысл этих «листков» заключался, прежде всего, в обозначении факта самого существования этого круга.

А.Ч.: Для героя вашей совместной книги Евгения Терновского его встречи с Ахматовой, Пастернаком, затем с Красовицким и Лосевым оказались самыми значимыми, а для вас?

А.Л.: Разница в возрасте между мной и Евгением Самойловичем составляет два десятка лет. Ахматова, Пастернак, Лосев – «великие души», пользуясь выражением Бродского, но значимы они были не только своим персональным величием, а как носители духа Серебряного века, свидетели и участники великой эпохи, на которой оборвалась история России, принадлежавшей к большому миру. Каждый акт общения с ними являлся актом по восстановлению этой связи, припаданием к той культуре. На мою долю тех людей уже почти не осталось, разве что старушки-антропософки.

Главные встречи состоялись для меня по приезде в русское зарубежье: профессора-священники парижского Сергиева подворья, редакция «Русской мысли» периода Ирины Алек-

сеевны Иловайской-Альберти, семья Синявских, Оскар Рабин, Алексей Хвостенко, Николай Боков... Личное знакомство с моим собеседником по книге – а это знакомство я также отношу к категории значимых встреч – произошло гораздо позднее, в 2008 году.

А.Ч.: А какое впечатление вы вынесли от общения с Дмитрием Галковским?

А.Л.: Мы общались в 88/89 годах – недолго, но сравнительно часто. Главным образом, у него дома. Он был заботливейшим хозяином, поил чаем с какими-то купеческими сладостями. От гостя требовалось одно: слушать. В этом смысле Дмитрий – настоящий философ, поскольку всякий настоящий философ монологичен по определению. Достаточно заглянуть в «Диалоги» Платона, которые могут быть названы «диалогами» разве что в ироническом смысле: Сократ монологичен, ему нужен не собеседник, а публика – публика, которая изредка подаёт реплики, стимулирующие работу его мысли. Подчёркиваю: это не недостаток, а нормальное расположение философского ума. Я с удовольствием играл роль такой публики, считая Дмитрия человеком, куда более сведущим в философии и – что важнее – куда более ею увлечённым.

После долгого перерыва мы встретились в Париже и... провели несколько часов в поисках какой-то наполеоновской монеты, которую он обязательно хотел привезти в подарок московскому другу. Я часто гуляю по Парижу с российскими гостями, но не помню случая, чтобы человек вот так тратил свои парижские часы на то, чтобы доставить удовольствие кому-то ещё, кроме себя и семьи. Я общался с интеллигентнейшим человеком, деликатным, трогательным и доверчивым. Эдакий «Галковский-лапочка», как выразилась бы во времена нашей юности московская салонная дама с пахитосой.

Иным я его никогда не знал. Поэтому когда я сталкиваюсь с его образом интернет-скандалиста, лежащего поперёк Рунета и мешающего почтенным людям высказывать их почтенные мысли, то для меня – это другой человек или тщательно срежиссированный образ.

А.Ч.: Приятно это слышать, хотя я бы сказал, что образ этот не только из Интернета, поскольку в том же «Бесконечном тупике» Галковский сам – понятно, что нарочито, но все же весьма последовательно – строит образ этакого ранимого, но и колючего анахорета-мизантропа. А за ним же вот такая розановская патриархальная мягкость... Кстати, как вы относитесь к «Бесконечному тупику»? Мне кажется, что при всеми признанном масштабе и медийном хайпе (того времени!) текст этот был непрочитанным отправлен в какой-то интеллектуальный запасник, даже кунсткамеру...

А.Л.: Критически прочитать «Бесконечный тупик» – занятие не из простых. Он устроен таким хитрым образом, что, кажется, уже включает в себя все возможные отзывы на себя и заранее пародирует их. Примерно то, что проделывает юзер Галковский, когда комментирует самого себя в «Живом журнале», переодевшись в специально созданные под это ники.

Тогда, в конце восьмидесятых, «Тупик» произвёл на меня сильное впечатление. И сила этого впечатления определялась не столько историсофскими размышлениями, сколько интонацией – частного человека. На фоне советского «мы»-чания и даже – благородного пафоса эмигрантских высказываний, также подразумевавшего коллективного субъекта речи, частное говорение Одинокова-Галковского воспринималось мной как нечто неслыханное. В этом «говорении из себя» была фантастическая дерзость, перед которой бледнела даже самая резкая диссидентская антисоветчина.

А.Ч.: Да, трепетное человеческое содержание в стопроцентно, заведомо постмодернистской подаче... А были ли в ту эпоху «подпольного советского скриба, литературного скорописца самиздата», когда неприятие советского обрекало на сознательную маргинальность,

выпадение из общества, а андеграудное существование было окрашено «пьянством, ребяческой мегаломанией (симптомом слабого знакомства с античной и классической литературой) и сквернословием – тремя бичами тогдашней поэтической молодежи» (я опять цитирую Терновского) какие-то ощутимые преследования властей, какова вообще была атмосфера упомянутых изданий и, шире, как бы вы сформулировали сейчас *Zeitgeist* той эпохи?

А.Л.: Самиздат, который я застал, существовал уже в куда менее несвободных условиях. Да и привела меня в него общая ограниченность советского культурного пространства с вынужденным выбором между официозом и подпольем. Как только это пространство раздвинулось буквально, географически, я предпочёл уехать и осуществлять в жизни другие выборы.

Объективно определить дух тогдашней, уже перестроечной эпохи мне трудно. Но эту трудность я хожу, лелею и не стремлюсь преодолевать, поскольку она заключается в наложении персональной юности на общее общественное оживление. Мне всё вспоминается радостным, увлекательным, бурлящим. Мы словно жили под веселящим газом. Пусть таким оно и останется в памяти.

А.Ч.: Не об этом ли говорил в вашей книге Терновский, что по прошествии Союза реальность «поэтов-инакомыслов» оказалась витальной официоза, по сути «в искусстве это подполье оказалось единственной реальностью»? И, если мы говорим о разрывах между паттернами и топосами, то меня остановила на странице еще одна цитата вашего собеседника: «Лишь оказавшись в эмиграции, я понял, до какой степени был по своей сути трагичен и глубок разрыв между русской и советской литературой, между Россией и СССР, разрыв, который, опасаясь, будет длиться множество десятилетий после падения коммунистических бетонных бункеров, бастионов и прочих темниц». Посетили ли вас после отъезда из СССР во Францию подобные мысли?

А.Л.: Увы, я вынужден согласиться с Е. Терновским. Ключевым для меня является здесь понятие нормы. Мои впечатления новоприбывшего вполне совпадали с другими свидетельствами советских людей, оказавшихся на Западе: здешнее общество – куда более традиционно, чем советское. Здесь не было разрывов в истории, а если они и происходили, то достаточно быстро затягивались.

Живя за железным занавесом, мы воспринимали в качестве нормы советскую жизнь, а то, что находилось за границей – как фантазию ведущего «Клуба кинопутешественников», вероятнее всего, снятую в засекреченном павильоне «Мосфильма». Но советская жизнь была запретным экспериментом, экстремальным видом экзистенциального спорта. И самый типичный советский персонаж, какой-нибудь работяга-алкаш или тётка-уборщица в общепитовской столовке, вели жизнь политически и эстетически куда более радикальную, чем Ги Дебор или Джексон Поллок. Мрачность драмы заключалась в том, что нам об этом не сообщали. Нам навязывали в качестве нормы нечто крайнее, не оставляя выбора.

А.Ч.: Возможно, этим именно и вызвана ваша недавняя колонка в «Часкоре»⁴, в которой вы после выборов в Думу советовали не заметившему нарушений Д. Медведеву купить очки и палочки для ушей, – страхом нового утаения, маркированного советским опытом? Эта колонка действительно разошлась множественно и была тем более неожиданна лично для меня, что, казалось, вы далеки от политики, выше ее... Почему именно сейчас аполитичность покинула столь многих? Ответов на это так много, но есть ли среди них верный...

⁴ Лебедев А. Сверим зрение и слух // Частный корреспондент. 2011. 7 декабря (http://www.chaskor.ru/article/sverim_zrenie_i_sluh_26018).

А.Л.: Тема эта волнует меня чрезвычайно. Во-первых, вы совершенно правы, разглядев во мне человека аполитичного. Сейчас я работаю над книгой о Борисе Гребенщикове, перечитываю множество его интервью и вполне готов повторить за ним: «Играть в политику – дело поганое, это не занятие для приличного человека. Музыка более интересна и долговечна. Я думаю, что ни вы, ни я не знаем, кто был правителем при Иоганне Себастьяне Бахе». БГ точно выражает мировоззрение интеллигента эпохи застоя, семидесятника, как он, или восьмидесятника, как я, – за что и ценим. Я считаю Брежнева правителем эпохи «Школы для дураков».

Но – мы живём в совершенно неслыханные времена, когда новое отношение к политике определяют даже не «Аль-Каида» или Субкоманданте Маркос, а Цукерберг и «Фейсбук». Ты не можешь сослаться на недостаточную информированность или невозможность общения. Ты каждый день поставлен перед фактами, по отношению к которым вынужден как приличный человек определить свою позицию. И как интеллеktуал это отношение сформулировать – причём, несколько более развёрнутым образом, чем «Полная хуйня» или «Всегда так было».

Во-вторых, и я говорил об этом в своём открытом письме к Медведеву, меня задевает тот факт, что он человек моего поколения. Я никогда не обращусь с письмом к Путину – у нас нет внутренних точек соприкосновения, он старше меня, но при том не на столько, чтобы выяснять с ним отношения «отцов и детей». Когда же мне попадается на глаза биография человека, родившегося в шестидесятые, то я автоматически дочитываю её до конца. Медведев – человек моего поколения, и мне не безразлично, каким оно будет выглядеть в глазах людей.

А.Ч.: Аристотель бы возразил БГ, что политика настолько в природе человека, что одно неотделимо от другого... Будет интересно прочесть, какой именно аспект БГ вы раскроете в вашей книге, потому что мне, прошу прощения, он кажется совершенно вторичным – в молодости расковыченно перепевал Боба Дилана, Моррисона и других, когда их никто вроде не знал (хотя тот же Майк Науменко честно переводил Ричарда Баха), сейчас вообще умножает абсолютную невнятицу...

Вы привносите в политику поколенческий, даже личный момент (скажем, Медведев в те годы слушал Deer Purple, а вы Нила Янга, о песни которого с Кириллом Кобриним написали книгу) тогда, когда большинство не хочет иметь с властью ничего общего, кроме претензий к ней... Кстати, вы окончательно предпочли «Живому журналу», который использовали весьма концептуально (претворяя его то в книгу, то в особое сообщество), «Фейсбук» из-за этой информационной вовлеченности? И возможна ли в ФБ та концептуальность, что отличала ЖЖ? Грубо говоря, не планируете ли Вы создать в ФБ что-либо вроде памятных вашим фрэндам сообществ spiski_ru и japonaiserie?

А.Л.: Книга о Гребенщикове должна выйти в течение года и говорить в ней будет... сам БГ. Дело в том, что трое из участников классического «Аквариума» – Джордж, Сева и Дюша – написали книги о группе; даже мама Бориса написала о сыне. А сам создатель команды и главная рок-звезда книг на эту тему упорно не пишет. Моя идея заключается в том, что такая автобиографическая книга, на самом деле, существует – но она растворена в других текстах БГ, в частности, сотнях его интервью. Я пытаюсь выявить сей автобиографический текст. Момент для этого вполне уместный, поскольку в текущем году празднуется то, что сам БГ называет «четырёхсотлетием» «Аквариума», или, переводя с аквариумистского, сорокалетие группы.

Ситуация с ЖЖ-сообществами, созданными мною, проста: сообщество – дело коллективное. Я хотел бы получать удовольствие от совместного труда, иначе достаточно использования тэгов «списки» и «жапонезри» в собственном журнале. Как только в «списках_ru» появятся не только читатели, но и действительные участники, мы с Панархистом готовы продолжить наш эпический проект по переводу и комментированию классики жанра «я помню».

Создавать сообщества, подобные ЖЖ-сообществам, в «Фейсбуке» значило бы не понимать принципиальной разницы между ним и «Живым журналом». Кстати, в вашей статье о «Фейс-лице-томебуке»⁵ эта разница исчерпывающе определена. ФБ – это виртуальные токи-воки, по которым переговариваются свои, но никто не будет начитывать в них лирический трактат.

А.Ч.: И потом археологи культуры восстановят наше время по блогам – эпоха ЖЖ, эпоха ФБ, годы, законсервированные в архивах этих сайтов... Не такой ли консервации, как тот же «Бесконечный тупик», подвергся на определенном этапе и Советский союз? Советология давно на марше, сейчас выходит много фильмов (от «Стиляг» до «Утомленных солнцем») и книг о той эпохе (от «Каменного моста» Терехова до «Все поправимо» Кабакова), но, возможно, единственный крючок, с помощью которого можно вытянуть то время на поверхность неокрашенным, не подвергнутым никакой лирической обработке – это простой человеческий документ под названием воспоминания? Воспоминания субъективны сами по себе, но это их естественный компонент, а не искусственный краситель, так что крючок получается хитрым, вроде того кривого, которым выковыривали мозг через нос египетских фараонов перед бальзамированием.

Что подвигло вас составлять «Словарь советской цивилизации», в котором самые разные авторы в виде словарных статей поделятся своими воспоминаниями о «реперных точках» СССР, почему именно сейчас и собрание каких текстов заставило бы вас сказать, что результат достигнут?

А.Л.: Полное название этой книги, которая должна выйти в ближайшие месяцы в московском издательстве «Август»: «Vita Sovietica. Неакадемический словарь-инвентарь советской цивилизации». Формальным поводом для составления словаря послужило двадцатилетие распада СССР. Двадцать лет – тот самый срок, когда прошедшая эпоха переходит в разряд *оксюморонического present past* и начинается действительная работа памяти. Мне как составителю было, однако, важно, чьей памяти.

«Неакадемический» – отнюдь не объявление войны серьёзной науке. Подавляющее большинство авторов словаря непосредственно связаны с таковой. Но именно это и подтолкнуло к эксперименту: что получится, если учёный-гуманитарий, всю жизнь изучающий слово другого, выражающий себя через него, позволит себе непосредственное высказывание, опирающееся не на чужое свидетельство из прошлого, а на собственный опыт современника? Что если лингвист расскажет о содержимом *авоськи*, японовед – о *жвачке*, специалист по средневековой истории Уэльса – об Иване Иваныче Самоваре, а, например, знаток Пастернака и Набокова – о *хрущобах*? Те, кто будут искать в их словарных статьях скрупулёзности и ссылок на университетские труды, окажутся разочарованы, упрекнув в субъективности и неполноте тематического охвата. Те, кто понимают, что вольный, искренний рассказ об эпохе подчас лучше передаёт её суть, чем десяток анемичных монографий, получают от чтения словаря искреннее удовольствие.

Впрочем, так ли непосредственны эти высказывания? Ситуация, без сомнения, куда сложнее, поскольку научность продолжает присутствовать в них, но – фоном, тайным неумолимым движением мысли, размахом сопоставлений, неожиданностью эрудиции.

А.Ч.: Возможно, рассказ специалиста по Уэльсу о Союзе – и есть то остранение, люфт и зазор, из которого произойдет непосредственность. Вообще, лейтмотивом нашего разговора становятся аспекты коммуникации и восприятия. Об этом вы много говорите и с Е. Тернов-

⁵ Чанцев А. Лицетом: теодияция счастья // Частный корреспондент. 2011. 13 сентября (http://www.chaskor.ru/article/litsetom_teoditsiya_schastyia_24778).

ским, обсуждая его вхождение в язык в Париже и двуязычное письмо (он даже приводит список писателей-билингв, весьма более развернутый по сравнению с общеизвестным), романы на русском и французском. Ваше же ситуация после прибытия в Париж была даже более усложненной – русский, французский языки и Восток, с которым, если не ошибаюсь, вы работали в вашем парижском институте и которым интересуетесь.

Столкновение с трехязычной ментальностью – вот, кстати, дань глобализму нового века по сравнению с двуязычием XIX и XX веков – срезультативала в особые ощущения, творческие находки?

А.Л.: Терновский выразительно описывает трудности литературного двуязычия: «Возьмите лист бумаги и покойно займите место за рабочим столом в комнате, безнадежно лишенной дневного или электрического освещения, своего рода *camera obscura* творчества. Попробуйте написать одну-две страницы на тему, которую подскажет вам ваше воображение, а затем включите свет в вашей временной темнице. Убежден, что прежде всего вы будете удивлены метаморфозой вашего почерка. Он стал не только трудно читаемым, но и почти неузнаваемым. Затем вы отметите безобразную зигзагообразность строк, не свойственную вашему обычному письму. И вместе с тем, не без некоторых усилий, вы все же прочтаете текст, написанный в кромешной тьме. Этот образ, мне кажется, близок к литературному переходу с одного языка на другой».

Есть во французском два паронима, перекочевавшие в некоторые другие европейские языки: *complexe* и *compliqué*. Значат они примерно одно и то же – «сложный»; разница – в коннотациях. Если первым обозначается цветущая сложность, вызывающая гордость за человеческий ум, то второй подразумевает утомительную и ненужную замороченность. Оказываясь в двуязычной ситуации, ты начинаешь с полного «компликэ», но постепенно движешься в сторону восхитительного «комплекс», когда одноязычие кажется тебе чем-то ограниченным, если не болезненным, как дыхание в одно лёгкое.

Постоянное пребывание во французской языковой среде учит русского писателя смирению. Рано или поздно ты понимаешь, что нет никакого особого русского литературного языка, а есть набор калек с древнегреческого и французского, который, в свою очередь, является аватаром латинского. За особостью – разве что к Хлебникову. И это прекрасно: пусть провинциальная гордость и страдает, это страдание компенсируется чувством причастности к единой европейской культуре, берущей начало в Античности.

Что касается восточного компонента в моей языковой практике, то я начинал учить китайский на филфаке МГУ под руководством замечательного, остроумнейшего Ю. В. Рождественского, но утверждать, что владею им, всё-таки не возьмусь. Хотя ориентальное многоязычие парижского Института восточных языков, в котором я служу доцентом, создает ощущение «посвящения в Восток», пребывания внутри него. Мои «Комментарии к утраченным снам», отрывок⁶ из которых был недавно напечатан в «Окне», выросли из этого чувства «внутреннего говорения» на древнекитайском. Для меня это отнюдь не пастиш, а странный случай существования древнекитайской литературы, написанной сегодня по-русски.

А.Ч.: Рискну сказать, что, на мой взгляд, в книге ваших бесед с Терновским вы реализовали еще одну языковую практику – не только по-набоковски богатого и по-шампански играющего («издательские козни как литературные казни», «гранатовый браслет и граненый стакан», этс.) языка, но и по-настоящему интеллигентного. Вечно на бегу и зачастую легитимировано хамская манера общения в тех же блогах была для нее, кажется, контрольным

⁶ Лебедев А. Комментарий к утраченным снам // Окно № 8 (11) (<http://okno.webs.com/№8/lebedev.htm>).

выстрелом в голову («консервацию языка» в эмиграции вы обсуждаете в книге, мы ее сейчас касаться, наверно, не будем).

Я опять хочу вернуться к коммуникации, спросив вас о странном. Дмитрий Бавильский уже говорил, что вам, судя по всему, нравится «описывать то, что описать невозможно»⁷. Невозможно потому, что его нет – тех описанных вами несуществующих картин («Алексей Дорогин. Каталог персональной выставки»), ангелов («Ангелология»), мира непрожитого, где герои живут в мирах Саши Соколова и Виана («Скупщик непрожитого»), СССР («Словарь») да и даже Китая из вашей прозы. . . Однако ж коммуникация с несуществующим оказывается у вас не траурно ламентабельна, а чуть ли не феерично витальна и весела. Такой перевертыш, – как в карнавальная средневековой культуре имени Бахтина оплакивали радость и танцевали смерть, – плюс любовь к средневековому же жанру списков и каталогов, – откуда они у вас?

А.Л.: Если книга производит впечатление написанной на хорошем русском языке, то это главным образом – заслуга Евгения Самойловича. Основная часть текста – его ответы на мои вопросы. Моя заслуга – в том, что я вернул Терновского русскому языку. Впрочем, не знаю, надолго ли – у него в работе очередной, сложноустроенный роман по-французски.

По поводу «коммуникации с несуществующим» следует оговорить как минимум три вещи.

Первое: главное, что меня интересует как писателя и филолога – понятие самого слова, его силы, границ воздействия. Этому посвящена моя диссертация, формальная тема которой – логология Филарета Дроздова. Творение подчёркнуто несуществующих миров – испытание слова на художественную эффективность. В моей иерархии логофила слово естественно занимает первое место среди орудий художника и может заменять собой другие искусства – становится живописью (экфрасисы «Алексея Дорогина») или музыкой («Беспомощный», книга об одной песне Нила Янга, написанная совместно с Кириллом Кобриним).

Второе: интерес к «несуществующему» – полемика с русским XIX веком, веком великого русского реализма, который по-прежнему воспринимается актуально. Для меня Толстой или Чехов умерли не сто лет назад, а вчера, и русская литература по-настоящему закончилась на них. Революция 17-го года помешала нам гармонично воспринять и усвоить русский модерн. Можно издавать Серебряный век миллионными тиражами, но он пока не растворился в культурной крови, двух десятков лет для этого мало.

И, наконец, третье: «Комментарии к утраченным снам» – начало нового периода в моем творчестве; я окрестил его для себя «новой древностью». Если постмодернизм – жизнь после смерти, то на смену ему логически должен прийти период нового рождения с интересом к первичным, архаическим формам выражения. Отсюда древнекитайский трактат, написанный по-русски.

А.Ч.: Почему в одной из ваших книг фигурируют именно ангелы⁸?

А.Л.: «Ангелология» – книга о тишине. И ангелы в ней соответственно бесшумные существа, противоположные людям. Писалась она вскоре по отъезде из СССР. Для меня, как кажется, наиболее травматичным был именно советский шумовой опыт: это вечное коммуналное роение, звуковая взаимопроницаемость советской жизни, отсутствие частного пространства.

⁷ Бавильский Д. Беседа с А. Лебедевым. А. Лебедев: «Я ухаживаю за своим дзенским садиком. . .» // Частный корреспондент. 2009. 12 августа (<http://www.chaskor.ru/p.php?id=9186>).

⁸ Чанцев А. Такая популярная ангелология // Частный корреспондент. 2012. 14 февраля (http://www.chaskor.ru/article/takayaajpopulyarnaya_angelologiya_26759).

Писалась она в Мурманске, местечке в Шампани, известном тем, что в здешних краях, под Реймсом, происходили жесточайшие бои Первой Мировой. Жил я в скиту, основанном афонскими монахами при русском военном кладбище. Писал, ездил на велосипеде в магазин, расположенный в четырёх километрах от скита, принимал редких гостей. Иногда выходил в поле, где, задрвав голову, смотрел в небо – надеясь увидеть ангелов. Но – видел зависших парашютистов из местного гарнизона.

Книга отца Сергия Булгакова «Лествица Иаковля», цитаты из которой предваряют каждую главу «Ангелологии», была найдена в скитской библиотеке и пленила меня редким, равновеликим сочетанием богословия и поэзии.

А.Ч.: Мне вспомнились высокое единоначалие и русская медитация лесника Саши Соколова и его посвящение «приятелям по рассеяню»... А какие книги из современных русских вы посоветовали бы вашим французским друзьям (переведенных или нет), а из французских – русским?

А.Л.: Основная часть интересного достаточно оперативно отслеживается и здесь и там, поэтому нет смысла называть известные имена. Из позднесоветской пропущенной классики хотелось бы иметь перевод «Максима и Фёдора» Владимира Шинкарёва. Я писал об этом романе по-французски, но пока не достучался до сердец и кошельков местных издателей.

Из вещей, вышедших сравнительно недавно: «Близкие люди» Сергея Болмата, мощный, по-настоящему современный роман, увы, неотрефлексированный русской критикой – те несколько рецензий, которые мне довелось читать, меня совершенно не удовлетворили. Перевод третьего болматовского романа на французский язык кажется тем более логичным, что два предыдущих уже вышли и даже переизданы в карманном формате.

Из незамеченных в России французских книг назову двухтомный «Словарь рока» под редакцией Мишки (!) Асяса – лучшее в этой области, что попадалось мне на глаза. Французы – не самые крутые рок-н-роллеры, но писать о рок-н-ролле у потомков Монтеня, похоже, получается лучше всех: умно, но не занудно, элегантно, но без выпендрёжа. Эта книга во Франции давно на виду.

Что касается менее известных книг, обращаю внимание на сборник стихов Жерома Леруа «Бесшумное начало людоедских операций». Иного чувствительного читателя название может отпугнуть, но, уверяю, книга нежнейшая. Пользуясь случаем, приведу из неё одно стихотворение – замечательный, на мой взгляд, образец лирической психогеографии:

*Я встречал Джорджа Оруэлла
Дважды
Первый раз в Лондоне ночью
Ловя таксиста-паки
Дощечка на доме
В сторону Портобелло-роуд
Второй раз во сне
Всякий раз дружеский саркастичный
И немного печальный
Он звал меня Уинстон Смит
И желал удачи
Он хотел сказать что-то ещё но
Такси-паки уже уносились
Навстречу тому чего боялись мы оба
Навстречу тому что не имело названья*

Далеко от Портобелло-роуд.

А.Ч.: А на психогеографической карте Парижа благодаря вам и Е. Терновскому читательские навигаторы теперь безошибочно будут пеленговать рю Данкерк...

Евгений Штейнер. Япония в своё время увела многих советских интеллигентов в сухой сад

Евгений Штейнер, японист, специалист по японским изобразительным искусствам и эссеист, о восприятии Японии в СССР и сейчас, опыте преподавания в разных странах и обреченности стран и памятников перед нашествием туристов.

Александр Чанцев: Начнем с вопроса, на который всем японистам приходится постоянно отвечать, – почему вы решили изучать японский, чем привлекала Япония?

Евгений Штейнер: Да, мне задавали и задают этот вопрос на протяжении многих лет и на всех известных мне языках. В итоге пространные раздумчивые объяснения я свел к краткой формуле, примерно такой: входя в возраст в Советском Союзе в застойное время, я хотел быть как можно дальше во времени и пространстве от окружавшей меня действительности, а потому выбрал средневековую Японию. К тому же так уж случилось, что некое избирательное родство делало для меня Японию интересной и манящей. Мне нравились японские стихи (в русских переводах, разумеется), еще больше – японская живопись тушью, даже заунывно-хрипчатые завывания флейты сякухати бросали в сладостную дрожь. А взять японское отношение к жизни, любви и смерти... Вот это я и решил изучать, чтобы не заставлять себя заниматься в жизни неинтересными вещами. Отсюда и язык – как средство познания. Через саму его языковую ткань, кстати, открывались интереснейшие вещи о культуре и ментальности.

Но сейчас к этому объяснению своего интереса я бы добавил кое-что новенькое: чем дольше я живу – и, соответственно, трачу дни-годы-жизнь на японские штуковины, тем больше думаю, что не стоило, пожалуй, делать именно этот интерес делом жизни и способом снискивания пропитания.

А.Ч.: Вы сразу затронули очень актуальную тему. Очень многие, кто изучал японский, ушли от работы с ним – так, из моей языковой группы в ИСАА выпустилось 8 человек, но продолжает с японским работать два человека, включая меня... Кто-то не выдержал стресса японских корпораций, проявляющейся в работе разницы менталитетов, того, что поэзии и прочей японской культуре в современной Японии места нет. Кто-то – как, возможно, я бы сам сейчас, отправив себя на машине времени в абитуриентские годы – предпочел знать японский «для себя», сделать его приватным хобби, но не способом зарабатывания денег. Какой мотив у вас?

Е.Ш.: Сначала позвольте ремарку о словах: вы и в первом вопросе и во втором спрашиваете меня о моем интересе к японскому (языку). У меня он был вторичен по отношению к моему интересу к Японии как специфической форме культуры и, соответственно занятия языком для меня были сугубо инструментальны. Я не лингвист и не филолог (хотя и стал кандидатом филологических наук, защитив диссертацию по средневековой поэзии рэнга в ИВАНе). Разумеется, язык чрезвычайно важен, но если б мне было с ним интересно работать как с таковым, я бы, наверно, насобачился бы бойко тарыхтеть и горя бы не знал, переводя что закажут, или перекладывая на русский хайки с танками целыми эскадронами. Меня же в первую очередь привлекала японская визуальная культура – т. е. эстетическая составляющая японской зримой среды от высокой живописи до облика крестьянских вещей. Визуальное начало в японской традиционной модели культуротворчества значительно более весомо, нежели словесное – несмотря на прославленную хэйанскую литературу (я знаю, что люди, работающие с литературными текстами, на этом месте дружно возопят, но все-таки говорю это – хотя, конечно, необходимы уточнения, да и вообще я стараюсь избегать категорических суждений уже давно).

А что касается того, почему я попробовал бы что-нибудь иное, окажись я снова двадцатилетним, – я думаю, что изучение чужой культуры, чтобы найти в ней некое созвучие собственным интенциям – это, во-первых, чрезмерно сложный, опосредованный и изгибистый способ самореализации, а, во-вторых, совершенно необязательно становится для этого академическим ученым – можно просто пить сакэ и заниматься косплеем. Я даже как-то, лет пятнадцать назад, написал на эту тему эссе, кажется, под названием «Что такое японист» – оно вошло в книжку «Без Фудзиямы: японские образы и воображения». Не менее важно и другое – более житейское объяснение: невозможно все время эстетически оттягиваться под что-то японско-возвышенное и писать об этом академические труды. За такие труды практически ничего не платят. Надо преподавать (я практически ничего кроме этого и не умею делать), а хороших мест мало, и дело это ответственное – со студентами работать. Я, вроде бы, преподаю неплохо и нескучно – много лет студенты в разных странах называют меня в числе лучших на отделении или на всем кампусе, это приятно, но требует немалых эмоциональных затрат. Я все-таки больше люблю с текстами, нежели с живыми людьми общаться. Хотя студенты бывают очень милые – чаще даже, чем их преподаватели. И еще одно... А впрочем, хватит, пожалуй...

А.Ч.: Вы коснулись сразу несколько интересных тем, но прежде всего хотелось бы узнать, какой образ Японии существовал тогда в общественном сознании, какой виделась Япония «из-за железного занавеса»?

Е.Ш.: Вообще-то я не раз об этом читал лекции и писал (впервые – в 1991, в еженедельнике «Знак времени», издававшемся в Тель-Авиве Ириной Врубель-Голубкиной и Михаилом Гробманом) – на тему «The Image of Japan in the Late Soviet Mind» или «Ivan Bodhidharma», или «Бойцы вспоминают минувшие дни» – это я, как раз в Японии будучи, сочинил – в вольной форме по-русски по итогам тамошних лекций. Стоит ли повторять? Ну вот сейчас найду. «Осужденный партией и правительством осуществлять идеал даосского мудреца („настоящий мудрец, не выходя во двор, видит весь мир“), молодой советский интеллигент совершал свое паломничество в страну Востока, читая умные книжки в Ленинке, а чаще в дворницкой или кочегарке... Большое восточное путешествие было для многих формой социального эскейпа и сущностью нонконформного бытия. „Лотосовая сутра“ мнилась магическим вокзалом, за которым неясно грезилась Индия духа...» Ну и так далее. Ну вот кратко, наверно, нужно сказать, что были все же разные уровни в повальном увлечении Японией: наряду с «интеллигентски-возвышенным» был еще и крепко-инженерский, где Японию видели как чудо техники и разумной организации, а еще был народный уровень, где Японию поминали в анекдотах (иногда смешных) и считали заповедником небывалого секса. Но это все, как говорится, «нынче уже старые песни». Я вам лучше вот что скажу: вероятно, кому-то не следовало так уж сильно увлекаться Японией (ну или тем, что вместо Японии напридумывали).

Япония научила советского интеллигента выживанию в тоталитарном обществе, научила способам, как выжить в условиях минимального психологического комфорта при постоянном фоновом давлении и притеснении. Япония предложила непростой, но доступный ответ: минимизация личной активности; переключение с карьерно-ориентированной деятельной социальной позиции на эстетически ориентированные созерцательные игры с реальностью – типично постмодернистский подход. (Который, впрочем, некоторые называли типично онанистским).

Но! Когда социальная ситуация изменилась, роль японского духа радикально сменилась также. Оказалось, (как мне открылось), что Япония сыграла важную роль в процессе маргинализации советской «независимой» интеллигенции. Они (мы) не хотели участвовать. Они (мы) были демонстративно пассивны и пассивны. Когда они (мы) слышали что-нибудь житейски-практичное – будь то официально-профессиональное или неофициально-денежное – они (мы) затыкали уши. (Благородные китайцы в этой ситуации уши обычно омывали – но

в советском контексте акцент всегда был не на ритуальном очищении, а на возлиянии). Так или иначе, это «неучастие» (или пофигизм) были по-своему неплохи в рамках тоталитарного режима, в качестве пассивной оппозиции дегуманизирующему обществу. Возможно, это благородное неучастие явилось одним из немаловажных идеологических факторов, разрушивших в итоге советскую систему. Но когда случилась перестройка, и власти сами стали тужиться строить социализм (или капитализм?) с человеческим лицом, ситуация изменилась. После всех этих демократизаций и человеческих факторов самый психологический тип интеллектуального маргинала и лиминала оказался неадекватным, неспособным и едва ли не неприличным.

Япония помогла в свое время деконструировать нашу собственную систему, нашу собственную реальность. Но в то же самое время этот подход оказался не просто деконструктивным – он оказался в определенной степени деструктивным. В годы, последовавшие за развалом Советского Союза, советская интеллигенция как социальная группа оказалась перед лицом вымывания почвы из-под ног и саморазрушения. В новой общественной реальности не было места интеллигентской эскапистской идеологии, с ее чрезмерно эстетизированным образом жизни, с полубарским-полулюмпенским отрицанием регулярной и интенсивной профессиональной рутины. Япония, понятая весьма специфически и однобоко, была большой поддержкой и законным пардоном для советских социальных фобий, оправданием для пассивности и нередко откровенной лени.

А.Ч.: Образ Японии так часто меняется и так часто заслоняет в сознании благодарных и не очень реципиентов реальное состояние дел в этой стране, – как, прошу прощения за банальное сравнение, 14 камней заслоняют своего 15-го товарища в известном храмовом саду камней в Киото, – что ваше повторение никак нельзя счесть лишним... Еще представляется, что в отечественном взгляде на Японию как на полного Другого никогда не было умеренности, середины (как и в политических отношениях между нашими странами), сочетались всегда какие-то страстные послы, ожидания, заочные конструирования – начиная уже с русско-японской войны, когда японцы были «обезьянами», но при этом вызывали восхищения их военные успехи и доблести (и начинала интересоваться российское общество та же японская культура). И подобное субъективное видение Японии не изменилось, мне кажется, со времен закрытого Советского союза: сейчас, когда мы/Япония перестали быть «закрытой страной», в Японию можно в принципе съездить туристом или по деловой визе, а всяких японских манга, анимэ и прочего хэнтая стало у нас даже слишком много, Япония видится едва ли не более фантастичной, чем из СССР. Близкое же и продолжительное столкновение с ней чревато подчас жестким разочарованием, как у той же героини «Страха и трепета» (которая бежала от современного японского общества все равно с мыслью, что где-то есть та «сокровенная» Япония, что помнилась ей из детских грез). Согласны ли вы с этим утверждением? Может быть, у вас был подобный личный опыт?

Е.Ш.: Да, у меня, пожалуй, был некоторый «карутя сёкку» (cultural shock) в первый приезд – а было мне уже сильно за тридцать, и мнил я себя как бы ученым (впрочем, международное академическое сообщество меня в этом фантомном представлении поддерживало – довольно, хило, впрочем, – печатая статьи и книжки, платя деньги за преподавание в университетах и давая гранты). Токио оказался совсем не похожим на то, что я видел на японских пейзажных свитках, а девушки на улице сильно отличались (и не уверен, что в лучшую сторону) от красавиц Утамаро. Я, разумеется, утрирую, но современной Японии я вовсе не знал, да и знать особенно не хотел. Было много фрустраций и отторжения. Со временем, конечно, я научился видеть свою прелесть и в Токио (хотя Киото мне ближе) и в японских девушках. И так далее. Неохота разливаться. Об этом можно книгу написать – я для своей, задуманной несколько лет назад, даже название сочинил: «Освобождение от Востока». Но никакого освобождения,

конечно, нет – это как перемежающаяся лихорадка. Или, как говорил сунский мастер Цинъюань Вэйсинь, «тридцать лет назад, когда я начал изучать Чань, я думал, что горы – это горы; воды – это воды. Когда я достиг озарения истиной Чань под руководством хорошего мастера, я понял, что горы – это не горы, а воды – не воды. А теперь, достигши убежища окончательного покоя, я так скажу: „горы и впрямь горы, а вода – на самом деле вода“». Я окончательного покоя не достиг, да и убежища никакого нет, но давно уже понял, что Япония – это не моя «Япония». И обе мне в общем нравятся. Первая иногда даже больше, чем вторая.

А.Ч.: Камерный культурный Киото я тоже люблю гораздо больше безумного распухшего Токио и, так совпало, посылаю вам этот вопрос из городка Кидзугава, что под Киото... С Японией понятно, а как вам жилось и работалось в Израиле, куда, насколько я знаю, вы попали еще до Японии?

Е.Ш.: Ну, это уже мукаси-банаси («рассказы старины»)... Я уехал в Израиль довольно импульсивно, почти четверть века назад. Перед этим, будучи советским человеком, я никуда никогда не выезжал, а тут началась перестройка, я вошел в контакт с японскими коллегами, появилась возможность туда поехать. Я отправился в ОВИР и спросил, как тут у вас в Японию уезжают, – на что мне ответили, что перестройка еще так далеко не зашла, чтобы таких, как я, в Японию выпускать. Я был молодой-горячий. Ах, так? – не хотите, чтобы я советским ученым поехал? Так поеду антисоветским. И немедленно уехал, хотя за это, сообразно советским законам, меня лишили и гражданства, и уютной двухкомнатной берлоги в Подколольном переулке. Кстати, недавно узнал, что в моем доме сейчас живет один известный японист и литератор.

И вот, думая попасть на Дальний Восток, я отправился на Ближний. Про Израиль я тогда практически ничего не знал, кроме каких-то романтических образов о Библейской земле. Я благодарен судьбе, что она дала мне шанс познакомиться с этой землей не как туристу, и узнать современную страну и ее людей. У меня возникло там множество добрых знакомцев – среди русских, израильтян, американцев и даже японцев, а кроме того, мне посчастливилось найти там настоящих друзей, с которыми поддерживаю контакты все последующие годы.

В Израиле мне предложили преподавать японскую литературу и японское искусство в Иерусалимском и Тель-Авивском университетах. Мне было интересно в обоих, и я взял по полставки в каждом. Два года я там преподавал. Это был весьма полезный, а временами экстремальный опыт. В то время японское искусство и классическую литературу в Израиле не читали. Я был в этом отношении первопроходцем. Но нельзя сказать, что Израиль был полной пустыней относительно японской культуры. Например, в Хайфе есть замечательный Музей японского искусства на основе коллекции Феликса Тикотина – а специализированных музеев японского искусства в мире раз два и обчелся. В Иерусалиме была восхитительная коллекция художника Якова Пинса, куда я часто ходил смотреть гравюры и приводил студентов. Был даже (и есть) Музей искусства Дальнего Востока в кибуце Ха-Зореа в Галилее. (Представьте себе на минуточку музей китайского и японского искусства в каком-нибудь знатном животноводческом колхозе Тульской области). Но специалистов-искусствоведов не было. Сейчас положение меняется. Пара молодых людей недавно защитили диссертации в Америке. В минувшем мае организовали большой симпозиум по искусству Эдо с участием виднейших специалистов из Лондона, Принстона, Нью-Йорка, Японии. Я помогал приглашать участников и формировать программу и сам выступил с докладом про свое новое прочтение Манга Хокусая.

А тогда, после двух лет преподавания, я получил новый грант и, наконец, смог отправиться в Японию.

А.Ч.: Кроме Японии и Израиля, вам довелось пожить и поработать в разных странах⁹ – понимая, что это вопрос еще на несколько книг, все же спрошу, чего в этом было больше, culture shock или ценного опыта, вынужденных скитаний или ценных обретений? Современный ученый, исследователь да и обычный человек должен/вынужден сейчас путешествовать?

Е.Ш.: Сначала стоит, пожалуй, заметить, что намного больше, чем в Японии и Израиле, я провел в Америке, куда меня пригласили, когда я жил в Японии и где восемь лет я преподавал в Нью-Йоркском университете (NYU), три года у университете штата Нью-Йорк и других местах и в Англии, где около шести лет работал в качестве исследователя в Институте Сэйнсбери по изучению японских искусств и культур (именно так – во множественном числе) и при Центре по изучению Японии СОАСа, где числюсь и поныне.

А теперь отвечу с конца: обычный человек не должен путешествовать. Впрочем, не буду повторять ваши «обычный» и «должен», а скажу так: подавляющему большинству тех, кто загаживает своим присутствием чужой культурный ландшафт, совершенно не нужно этого делать. Ну зачем им ездить? – За мануфактурой? – нынче где угодно можно купить что угодно, по крайней мере обывателю. В музеи? – о судьбе произведений искусства в эпоху репродукций еще Вальтер Беньямин писал, ничего хорошего из массового копирования для искусства не выводя, а узнал бы он про интернет и фотошоп – вообще бы умер от ужаса. Подправленные яркие картинки доступны нынче для всех на экране их собственных компьютеров. Уверяю вас, в музее картинки не столь выразительны да и толпа сотоварищей-туристов мешает. Что еще – красивые виды, закат и море? – большая часть туристов без подпития этого не воспринимает. Пусть лучше у себя в пригороде бухают. Да, на всякий случай поясню, что я отнюдь не только соотечественников за границей имею в виду, но и британских работяг, которые на практически бесплатных самолетах летают толпами куда-нибудь в Испанию, чтобы накачаться пивом и похулиганить. И японские (а с недавних пор и китайские) группы, которые не хулиганят, но плотно обступают все на свете и щелкают, и щелкают... Я с годами стал терпимее к людям (тут я хмыкаю и изображаю самоиронию), но вид туристов в панамках и шортиках, снимающихся на фоне Моны Лизы или Собора Парижской Богоматери, вызывает у меня вполне мизантропические чувства. Помните, «американка в двадцать лет должна добраться до Египта»? – за минувшие сто лет стало в сто раз хуже.

А почти бесплатные перелеты – впрочем, они уже во многом в прошлом, но вот как 10–12 лет назад начались с Райан-эр или Изиджет, ситуацию радикально изменили! Эти дешевые средства доставки, во-первых, снизили уровень сервиса и ценность каждого отдельного пассажира, а главное – доставили в приличные места массы тех, кому там быть, даже временно, совершенно необязательно. Я уж не говорю о тех, кто прилетел и остался – и сейчас на улицах Парижа или Венеции негры из Сенегала втюхивают русским туристам фальшивые ролексы и псевдо-луи-виттоны, сделанные в Китае. А те, кто слетали, насмотрелись и вернулись восвояси с необоримой завистью и ненавистью, и с желанием приехать еще раз и все отобрать? А им еще всякие навигаторы, Фейсбук и Твиттер придумывают. Зря. Опасно. Придурашные, простите, прекраснотушные американцы пишут в либеральной прессе: «Революция Твиттера на Ближнем Востоке!» «Цукерберг помог Арабской Весне!» Кстати, я недавно прочел, что у папуасов Новой Гвинеи в последние десять лет небывало массовый и жестокий характер приобрели преследования (истязания, зверские убийства) женщин, обвиняемых в колдовстве, а также «просто» групповые изнасилования на улице. И ученые-этнографы установили, что повлияло на это, оказывается, массовое распространение (через интернет) американских или китайских фильмов про всяких упырей и жестокое мочилово, а также популярность у папуасов дешевых

⁹ Чанцев А. Доминанта несовпадения. Рец. на книгу Е. Штейнера «Письма из пространства» // Букник. 2006. 14 августа (<http://bookmk.ru/reviews/nction/dominanta-nesovpadeniya>).

телефонов, на которые они снимают то, что они выдвывают со своими жертвами, и постят. Умолкаю.

Путешествие должно быть медленным и долгим. Путешествие – это Grand Tour или Wanderjahre – время становления через осмысление мира и себя, желательное через ренунциацию. Сюда же можно добавить практику пост-саторических странствий (*ангя*) чаньских и дзэнских монахов – практика эта называлась *сэтай тэё* – примерно «долгое возвращение святого нутра». Или христианские паломничества. Или иудейские – вспомните например, Биньямина из Туделы... Надо путешествовать так, чтобы возвратиться, пространством и временем полным.

Нужно ли путешествовать ученым? – по-моему, далеко не всем это так уж нужно. Если вычтеть полевых исследователей или тех, кому надо работать в узкоспециальных заморских библиотеках (сейчас необходимость в этом стремительно сокращается благодаря оцифровке крупнейших библиотек и интернету) или в уникальных лабораториях, или под руководством редкого специалиста с мировым именем, то все остальные могут работать дома, at home-office. Вот, например, Артур Уэйли, замечательный переводчик «Гэндзи-моногатари», – в Японии никогда не был и ехать отказывался. Боялся испортить впечатление от эпохи Хэйан профанической реальностью. Я его понимаю.

Но, разумеется, есть и еще один важный мотив для научных путешествий, даже два. Первое – это молодым поехать, чтобы впитать среду и расширить кругозор. А не только молодым – это необходимость человеческих контактов, в том числе неформальных, с коллегами – на конференциях и прочих сборищах. При этом нередко чисто академическая польза от докладов близка к нулю, а вот наращивание контактов, вхождение в круг – это существенно, ибо полезно для лучшего понимания профессии и себя в профессии, и чревато дальнейшими уже вполне академическими результатами. Вот я в последние годы участвую обычно на 5–6 международных конференциях в год да еще езжу читать гостевые лекции. Иногда постфактум понимаешь, что можно было бы этого не делать – но ведь интересно! Кстати, я сейчас пишу из Парижа, куда приехал на конференцию, устроенную Европейской ассоциацией по изучению Японии. А из Парижа полечу в Киото – так что можем там с вами пересечься. А коли нет – прилетайте на открытие выставки японского эротического искусства (сюнга) в Лондон. Там в начале октября будет симпозиум, приуроченный к открытию. Я перетеку туда сразу по завершении конференции в Киото.

А.Ч.: Спасибо за приглашение, но из-под Киото я в конце недели переберусь в Токио, а в начале октября буду на конференции в Армении... И да, конечно, путешествие ради опыта потери себя («You had to lose yourself along the way», U2) и обретения нового видения прежде всего старых вещей («И я ушел, и включился, и поезд вкатился в Москву. / Я посмотрел на мой город, и город был новый, живой», Сергей Калугин)...

Что же касается туристов, то те же желания немного сократить насильственным порядком их число буквально давеча возникли у меня, когда я тут решил сам съездить в Удзи, показать впервые приехавшим в Японию коллегам мисимианский Кинкакудзи и прочие храмы Киото – количество туристов возрасло в разы (с тех пор, как я жил тут 13 лет назад), возникли странные симулякры, когда целые группы китайских туристов одеваются на время экскурсий в японские хакаты или в костюмы майко (!), традиционных гейш Киото...

Е.Ш.: Ужас.

А.Ч.: Вы, как я понял, утверждаете, что почти невозможно человека чему-либо научить, можно только научиться, самостоятельно исследовать, с чем я могу только согласиться. Сами вы занимаетесь японской визуальностью – если в Советском союзе тема еще как-то разраба-

тывалась, то сейчас, кажется, ею никто, кроме вас, не занимается. Почему? Может, дело не в общих обстоятельствах, что наука сейчас особо никому не нужна, но и в сложности темы, ее востребованности нашей культурой – да, визуальной, но клиповой, «актуально»-сиюминутной, а не медатативно визуальной? Или чем-то еще?..

Е.Ш.: Не могу согласиться, что в советское время японским искусством лучше и больше занимались, а уж тем паче «разрабатывали». Были две-три (а м.б., четыре) дамы разной степени прекрасности, которые сочиняли тексты про то, что японские художники очень любили красоты родной природы или просто «сидели на вещах» (дамы сидели – не художники). Еще одна-две преподавали студентам обзорные курсы, может, даже неплохо. Думаю, сейчас ситуация примерно та же – отчасти те же самые дамы, а отчасти их клоны в следующем поколении. Но проблема, разумеется, не в ком-то, а в системе. В стране отсутствует система подготовки квалифицированных специалистов – все советское время отсутствовала, хотя могло бы быть иначе. В начале века был Сергей Елисеев, крупнейший знаток японской культуры, искусства и письменности – первый европеец, окончивший японский университет. До начала двадцатых он пытался что-то делать, но был вынужден (и сумел!) бежать – а дальше поднимал японоведение во Франции (в Сорбонне и Школе Лувра) и в Америке, где руководил кафедрой в Гарварде. Потом сын его Вадим Елисеев в Париже (в музеях Чернуски и Гимэ) много японским искусством занимался. А в России...

Ведь заниматься визуальными искусствами Японии (да и вообще, Восточной Азии) намного сложнее, нежели литературными текстами. Заявляю это, зная, что филологи, если прочтут, тут же предадут меня черепкованию. Поясняю: переводить и толковать старинные стихи и сказания – труд сложный и почетный, и уважаемые коллеги много всяких литературоведческих вещей должны знать, но работают они все-таки в подавляющем большинстве по современным печатным изданиям этих старинных стихов, снабженных прекрасными комментариями японских специалистов на современном языке. А основной материал искусствоведа – это картинка. В советские годы учили описывать своими словами, почему это «красиво нарисовано», но при этом часто бывает непросто определить сюжет и вообще – мужчина это или женщина изображены, и что они делают, и что у них в руках, и что все это значит в тайном ироническом, политическом или эротическом смысле (или во всех этих смыслах сразу). И еще надо прочесть стишок на картинке, который написан полустертыми скорописными (или девиантными) иероглифами – сплошной хэнтай. А еще нужно авторство определять – а часто ученики копировали стиль мастера да и именем его пользовались, забывая написать Второй или Третий. Вот, например, некто, весьма популярный, подписывался «Тоёкуни», а на самом деле это был Кунисада, или «Тоёкуни Третий». Но это довольно легкий случай. А проблема подлинности? – в конце XIX века японцы специально для западного рынка искусно воспроизводили знаменитые гравюры начала XIX-го – Хokusая, например. Не зная массы тонкостей – состава красок и бумаги (т. е. того, как они старятся) и эталонных образцов – распознать такие копии невозможно. Помню, когда я, по просьбе Антоновой, готовил к печати каталог японской гравюры, хранящейся в ГМИИ, я опознал несколько десятков таких копий – чем сильно удручил музейных работников. Научиться распознавать нужно, держа эти эталонные образцы (а они в лучших музеях мира). И да – есть ситуации, когда хрупкие вещи можно и нужно взять в руки – чтобы воспитать в себе тактильное знаточество. Есть, кстати, щадящие способы держать гравюру. Ну как и с кем такому в СССР или России было учиться?

Несколько лет назад я попытался было организовать в Москве школу востоковедного искусствоведения, да не заинтересовал этим абсолютно никого (см. об этом подробнее в моем интервью¹⁰). Тут вообще разные факторы переплетены. Помню, один добрый с советских

¹⁰ Штейнер Е. Экскурсионный осел в Пушкинском музее // Полит, ру. 2008. 20 февраля (<http://polit.ru/article/2008/02/20/>)

времен знакомый, а ныне большой академический начальник в ответ на предложение прочесть его студентам-японистам пару спецкурсов по японскому искусству, сказал, что они не для того своих студентов учили читать тексты, чтобы те потом к искусствоведам перебежали. Впечатляет. Вообще, я сталкивался с некоторыми вещами, которые мне непонятны, и даже неловко интерпретировать. Вот случайно нашел я в интернете, к примеру, учебную программу курса японского искусства в одном весьма почтенном российском эффективном университете. Отличная программа – за исключением разве что того, что я никогда не поверю, что все данные (темы, названия, жанры, виды, стили, техники, школы и т. п.) можно разумно вместить в один полугодовой – или даже годовой, не помню – курс. Ну да ладно. И отличная библиография там была – включавшая чуть ли не газетные заметки на тему японского искусства и одностраничные буклеты к выставкам. Единственное, чего там не было, – это моих книг и статей. Почему-то мое имя автор программы решил не упоминать.

Но сейчас, кажется, положение начинает меняться. Ко мне время от времени обращаются студенты или молодые энтузиасты с просьбой о консультации или прочесть то, что они написали. Я встречал двух девушек в СОАСе, которые занимались японским искусством (помню, одна на лекции очень энергично задавала каверзные вопросы – вероятно, на правах соотечественницы). Я знаю в России пару молодых энтузиастов-собираателей гравюры или свитков, которые самостоятельно научились видеть в своих вещах то, что не всякий хранитель опознает с налету (или вообще опознает). Дай бог, ситуация будет меняться к лучшему.

А.Ч.: Банальный, но не менее интересный вопрос – над чем вы сейчас работаете, каких книг ждать?

Е.Ш.: Несколько последних лет моим главным и основным проектом было изучение «Манга» Хокусая. Давайте я немного расскажу об этом – это не просто интересно в качестве научного или художественного проекта, но и показательно (поразительно) для понимания того, как сейчас пишутся и распространяются работы по японистике в России.

Это весьма печальный для меня проект. Т. е. он абсолютно фантастический по тому удовольствию, с которым я в него погрузился, и чрезвычайно благодатный, ибо занимаясь им, я значительно расширил свои представления и знания о мелочах японской жизни. Но он абсолютно депрессивен потому, что, как оказалось, издателей в России, которые хотят или могут его опубликовать, нет. Я благодарен случаю, что я стал писать эту работу по-русски (мне заказало ее одно издательство), но если бы я знал, какие будут проблемы с призраиванием готового текста, я бы не стал и писал бы сразу по-английски (сейчас я работаю над английским текстом).

Ну, кратко, – Хокусай – это наше японское все. А его «Манга» – это пятнадцать альбомов с примерно четырьмя тысячами фигур и мотивов. По сути дела, это – энциклопедия старой японской жизни в картинках. Там есть все – от насекомых, до воинских искусств, домашней утвари, секса и китайской мифологии. В далеком 2006 я оказался в Москве, и издательство «Наталис», маленькое замечательное издательство восточной литературы, предложило мне сделать вступительную статью к «Манга», сканированные страницы которой оно купило в Ленинке, где хранился экземпляр. Сначала они предложили это одному видному японисту (не искусствоведу), но его краткая статья оказалась не совсем по жанру. Когда я погрузился в «Манга» – а это одно из тех знаменитых произведений, про которое что-то знают все, но толком не исследовал никто – я поразился тому, сколько там интереснейших и непонятных сюжетов, а также тому, как были организованы эти альбомы в композиционном отношении. Листать «Манга» Хокусая – захватывающее занятие, недаром ее считают родоначальницей нынешних манга (что исторически не совсем, впрочем, справедливо). В итоге вместо вступительной ста-

ты у меня получилась толстая книга с детальным постраничным комментарием к сюжетам и исследование о принципах композиции. В идеале работа заняла бы два года, но едва я начал, как переключился на переписку каталога японской гравюры для ГМИИ – два года. Когда вернулся к «Манга» и еще через два года закончил, оказалось, что «Наталис», увы, переживает не лучшие времена, и печатать эту дорогостоящую работу в нескольких томах и с пятью сотнями цветных иллюстраций не может. Проект подхватило маленькое частное издательство, в котором, вероятно, деньги водились, поскольку главой его была жена какого-то банкира. Они, собственно, предложили мне переиздать мою старую книгу об авангарде, которую хвалили в преувеличенных выражениях, а я сказал, что есть и другой проект – еще интереснее. В итоге целый год шла довольно активная подготовка, после чего они вдруг заявили, что им разонравилась моя концепция (в старой и известной книге), а заодно и «Манга» не будут печатать. После этого я обращался в пять (5) московских издательств, печатавших книжки про искусство – все они с восторгом хватались, строили грандиозные планы – от того, что это будет эксклюзивное издание с номиналом в пять тысяч рублей, до того, что надо устроить к выходу книги международную конференцию про Хокусая. Через полгода-год все эти издательства тихо увядали (некоторые забывали мне сообщить об этом). Да, это дорогой проект в полиграфическом отношении – но это же Япония! Хокусай! Манга! Секс, буддизм, бонсай, ниндзя и все остальное. Неужто не раскупят? Так, один из рецензентов, университетский профессор, писал, что рекомендует держать эту книгу на рабочем столе всякому японисту. К тому ж все сканы всех девятисот страниц «Манга» я получил от Британского Музея совершенно бесплатно (сканы из Ленинки, которые купила «Наталис», оказались непригодны, поскольку ей всучили картинку с разрешением 100 точек на дюйм). Т. е. издателю не нужно тратиться ни на фотографирование, ни на покупку прав. Не понимаю я этих издателей. И самое странное – обещают и исчезают. В итоге готовая работа лежит уже три года. Ну вот я сейчас заканчиваю английский вариант – издадут его, будут привозить в Москву как библиографическую редкость...

Хотя и в западном академическом книгоиздании иногда подготовка идет неспешно. Вот мой опус магнум «Дзэн-жизнь: Иккю и окрестности» вроде бы выходит следующей весной в Англии после четырех лет издательских перипетий – это ужасно долго. Это моя давняя тема, книга много лет назад вышла по-русски, а тут я ее переписал по-английски, обновил, добавил около восьми печатных листов. Неплохо было бы ее издать в обновленном расширенном виде и в России – но боюсь даже кому-то предлагать. Это, конечно, знаменитый Иккю и дзэн и всякое такое, но – под тридцать листов, чуть меньше четырехсот сносок, включенные японские и китайские тексты, да сверх того мои завиральные идеи. Кому это надо...

А.Ч.: Да, литературные, культурные вещи упрутся в экономический тупик, как те же отношения между Россией и Японией упрутся в политическое, Берлинскую стену под названием «мирный договор» (японцы не оставляют попыток решить политическую проблему культурными средствами, что хоть и пахнет временами прозелитством, но, конечно, позитивно). В связи с чем еще один не очень веселый вопрос – как, на ваш взгляд, будут развиваться отношения между Россией и Японией? И вопрос еще более «глобальный» – Япония окончательно космополитизируется в худшую сторону (как-то несколько лет назад в торговом центре в Тибете мои коллеги хотели купить какой-нибудь японский сувенир – все на поверку оказалось Made in China, а сам торговый центр – братом-близнецом московских ТЦ...) или же останется верна своей завидной традиции бережного отношения к прошлому?

Е.Ш.: Про отношения не скажу – не знаю. Не моя тема. Наверно, как-то будут развиваться. Не уверен, что всем от этого будет хорошо. А что касается космополитизации или глобализации Японии – боюсь, ей от этого не отвертеться. Впрочем, у нее уже есть исторический опыт – широко распахиваться для иностранного влияния (Китаю в древности, Западу в Новое

время), а потом закрываться и переваривать. Студентам младших курсов я обычно привожу образ моллюска, который раскрывает створки, втягивает всякую еду и разные песчинки, потом захлопывается, раскрывается снова – и внутри выросла жемчужина. Я уверен, что японцы и сейчас смогут вырастить жемчужину. Не уверен только, что им дадут захлопнуться. В этом случае будет происходить (уже происходит) расслоение японской культуры – на глобальный американо-китайский ширпотреб (для масс) и элитарно-эзотеричные формы высокой культуры – для немногих, кто хорошо образован и богат. Собственно, такое было всегда в той или иной форме (дихотомия «высокого» и «низкого» в японской культуре – *гадзоку* ##), но «низкое» сейчас может выглядеть иначе: не просто культура городского плебса (изощренная по-своему – как укиё-э или кибёси), а просто глобализированный китч с национальной отдушкой.

Дмитрий Бавильский. Автономное инакомыслие искусства

Писатель и критик Дмитрий Бавильский о бессилии колумнистов, величии Чорана, идеальном романе и арт-группе «Война».

Александр Чанцев: Вы достаточно долгое время не писали литературную критику, но недавно вернулись с рубрикой «Достучаться до небес» в «Частном корреспонденте». С чем был связан этот «отпуск» и возвращение – в литературе появилось что-то, что привлекает внимание? Какие может быть даже не имена, но тенденции в нашей литературе интересны вам, вызывают желание пристально следить за ними?

Дмитрий Бавильский: В литературе ничего не изменилось, литература продолжает атомизироваться и расплываться. Вы правы – я уже давным-давно не занимаюсь литературной критикой, ни с кем не спорю, не воюю, никого не продвигаю, не задвигаю, я лишь делюсь с тем, кому это интересно, результатами своего чтения.

Если вы обратили внимание, то я уже давно не пишу разгромных статей. Знаете почему? Потому что я читаю только то, что мне интересно!

В каком-то смысле мой цикл «Достучаться до небес» – дневник читателя, который знает, что хочет получить от современной литературы, а, главное, знает, где эту литературу искать.

Сегодняшние книжные магазины (не говоря уже об Интернете) способны свести с ума любого. Тем более, что со всех сторон, как в сказке про Алису, сыплются рекомендации: «Съешь меня!», а выбор, многократно превышающий спрос, мним, и нет, не построено, не выработано механизма отбора хороших книг.

Рецензионные разделы занимаются маркетингом, премии решают собственные вопросы. С какого-то момента я перестал позволять себе навязывать то, что мне неинтересно.

Когда мы едим, то тщательно выбираем продукты, изучаем этикетки, но почему-то эта избирательность покидает нас в книжных супермаркетах, где подавляющее количество товаров – одноразовые тексты быстрого употребления.

Но из-за этого читать ты не перестаёшь, потребность время от времени знакомиться с актуальными текстами не исчезает, вот и хочется помочь – но не с рекомендациями, а с разборами текстов, с информацией о тексте, чтобы человек сам решил нужно ему это или нет.

А.Ч.: Идеальная книга в вашем представлении – о чем и как она должна быть сейчас написана?

Д.Б.: Если бы я знал, то попытался написать её сам, а не стопорился бы на постоянной развилке, не умея определить, что важнее, «стиль» или «сюжет».

Размышлизмы тормозят фабульные навороты, однако, голая нарративность скучна. С одной стороны, хочется читать нечто богатое железом мысли, но, при этом, не скучать, увлекаясь сюжетом. Вот как у Бальзака.

И, конечно же, такая идеальная книга должна давать ответы на какие-то очень важные вопросы современности, хотя и не слишком злоупотреблять общественным пафосом.

А.Ч.: Ваша новая книга «Сад камней» посвящена классической музыке, современному театру и искусству, а в ваших интервью вы общаетесь с композиторами и театральными режиссерами гораздо чаще, чем с писателями. Подобный выбор тем обусловлен только вашими личными эстетическими интересами, или же вам, возможно, видится, что именно эти сферы сейчас наиболее витальны?

Д.Б.: Конечно, мои интересы находятся там, где мне интересно. Времени не так много, поэтому приходится выбирать, и я стараюсь не ошибаться со своим выбором.

Плотных, насыщенных книг сейчас много меньше, чем выставок или концертов. А, может быть, я просто объелся литературы и не добрал симфонических концертов.

Однако, вы отчасти правы – на мой взгляд, передовые рубежи развития художественной мысли сейчас проходят не через литературу (и, тем более, не через кино), но через новую академическую музыку и некоммерческие пластические искусства.

Сейчас же всё тотально коммерциализируется (возможно, литературе больше всего как раз и мешает стремление любыми средствами вписаться в рынок), поэтому искусством в моем понимании становится, прежде всего, то, что труднее конвертируется в денежные знаки.

А.Ч.: Вы одобряете присуждение «Инновации» арт-группе «Война» за известный, думаю, уже всем хулиганский хэппенинг? Столь сильная социальная компонента как в самом хэппенинге, так и в реакции на него – это недобрая весть о нашем актуальном искусстве и социуме или же, наоборот, свидетельство оживления в них?

Д.Б.: Работа «Войны», заслужившая премию, убедительна пластически и идеологически. Она остроумно придумана и хорошо исполнена. Это точное и чёткое высказывание, поэтому я рад, что её оценили по праву, хотя, если честно, не всё, что делает эта арт-группа, мне нравится.

Кроме того, в этом присуждении есть ещё важный протестный момент, который тоже следует только приветствовать. Чем больше будет таких независимых жестов (я и о самой акции, и о результатах премии), тем общество наше будет больше походить на здоровое.

А.Ч.: Отслеживая, кажется, все наиболее значимые премьеры и публикации, вы очевидным образом дистанцируетесь от так называемой «литературной тусовки» и от прямого социального высказывания, предпочитая им глубокое погружение в область эстетического. Это трудная позиция аутсайдера по нынешним «корпоративным» временам, не так ли?

Д.Б.: Для меня нет существеннее расхождений с существующими порядками, чем расхождения эстетические. Известная фраза Андрея Синявского, таким образом, обретает значение едва ли не этического закона.

Искусство даёт тебе возможность автономного плаванья, так как ты его переживаешь не так, как другие. Искусство, через переживания которого ты становишься самим собой, научает инакомыслию, независимости, естественности диссидентства.

Вы правы, я не люблю прямых высказываний – потенциал их весьма ограничен, причём ограничен во всех смыслах. В прямом высказывании почти никогда нет интеллектуальной поживы, раздолья для интерпретации – всего того, что нам доктор прописал.

От литературной жизни я отстраняюсь, поскольку она мне не очень интересна. Я люблю писать, но это не значит, что на этой почве у меня есть много общего с людьми, озабоченными поисками благ. Тем более, что литература, в смысле бонусов, не слишком эффективна, а времени и сил пожирает много.

Не то, чтобы я был сильно озабочен рентабельностью своих жестов (иначе пришлось бы писать не эссе о поисковой музыке, но штамповать детективы), но когда взвешиваешь на весах доходы и расходы, то отстраняешься от литературной жизни ещё дальше.

И ещё. Находясь «в струе» невозможно (или же очень сложно) создать что-то сугубо своё. Мы же не буквы продаём, но мысли. Влияния внутри тусовок распространяются подобно гриппу или ОРЗ, обрекая на жевание жеванного.

Кажется, изобрести свой собственный велосипед можно только в одиночестве. Такова уж, извините, специфика литературного труда – необходимость жить своим, а не заёмным умом.

А.Ч.: В последнее время у многих, думаю, возникает ощущение, что литература и журналистика в значительной степени смыкаются, перетекают друг в друга, как жидкость в сообщающихся сосудах, с другим проявлением социального – блогами. Должны ли мы бить тревогу, что блоги все больше теснят традиционные СМИ, действуют на их территории (slon.ru) или же только приветствовать это явление?

Д.Б.: Ещё Гамлет говорил, что вещи не плохи и не хороши сами по себе, но плохо или хорошо только то, что мы о них думаем. С одной стороны, «журналистика мнений» – это правильно и хорошо – пользуясь френд-лентой своего блога, я меньше хожу на официальные новостные источники, мне нравится, что большие новости большого мира заменяются событиями из жизни «простых» людей. Частные новости – это, в ситуации беспримерного медийного давления, правильно и как-то хорошо.

Но, с другой стороны, безответственное говорение быстро надоедает, хочется более-менее проверенных фактов, а интерпретация не заставит себя ждать. Тем более, что высказывать собственное мнение хорошо бы тем, кто эти мнения имеет.

В журналистике сейчас складывается парадоксальная ситуация обилия колумнистов при минимальном количестве интересных людей. Особенно раздражают многочисленные «универсальные гении», способные рассуждать о чём угодно.

Хорошо это или плохо? Мне кажется, момент выбора (или отказа от него) оказывается неизменной чертой человека в любые времена. Дело не в предложении, которое может быть каким угодно, дело в твоём собственном выборе и отборе, когда ты несёшь ответственность перед самим собой и, хотя бы потому, не даёшь накормить себя информационной падалью.

А.Ч.: Еще на самой заре того, что на Западе называется блук-литературой (blog+book), вы опубликовали первый роман о «Живом журнале» («Ангелы на первом месте», 2005), недавно сделали серию интервью в «Частном корреспонденте» с известными русскими блогерами. Нет ли сейчас желания написать о Facebook? В каком вообще направлении будет/должна развиваться рефлексия над блогосферой?

Д.Б.: ЖЖ возник на пике свободной интеллектуальной энергии 90-х, своеобразным её завершением, таким куполом, тогда как ФБ – обычная корпоративная история, монетизация которой важнее информационного или интеллектуального наполнения. ЖЖ – локальный случай, тогда как ФБ – метафора глобализации, бездумно подминающей под себя буранные полустанки.

Мне ФБ не интересен, он слишком похож на счётчик использования воды. Хотя и в нём есть положительные моменты (отсутствие соревновательности).

А.Ч.: Я знаю, что Чоран – один из самых любимых вами писателей. Тотальный меланхолик, законченный скептик, пишущий о нашествии варваров на мир высокой культуры. Его чтение дает утешение или/и силы?

Д.Б.: Как становятся любимыми авторами? Кто? Вероятно, те, с кем у тебя возникает максимальное количество совпадений и пересечений. Когда ты встречаешь в книгах других писателей собственные мысли. Чоран, в этом смысле, чемпион соучастия.

Будь я наглее или экзальтированнее, я бы решил себя российской его реинкарнацией, настолько мне близко (под кожей) то, что он чувствует или пишет.

Я даже не знаю, кого ещё можно поставить с ним рядом, – разве что, Осипа Мандельштама и Лидию Гинзбург.

Сергей Солоух. «Любое время ассоциируется у меня со смертью»

Разговор с Сергеем Солоухом о мученичестве Шаламова, переводах Селина, мужестве католиков, литературном сообществе и негативной природе кинематографа.

Александр Чанцев: Хотелось бы начать с твоего последнего романа – побывавшей в прошлом году в шорт-листе «Большой книги» «Игры в ящик». При его чтении у меня сложилось впечатление, что эта книга в некотором смысле – opus magnum того, что ты писал до этого. Так ли это?

Сергей Солоух: Ты знаешь, Саша, как-то мне не очень комфортно от таких красивых слов, как opus magnum. Что-то в них от exegi monumentum солнца нашего, а я как-то не вижу себя рядом. Я, вообще, не вижу себя в литературе. В том смысле, какой подразумевается людьми в ней обитающими, в самом житейском смысле, типа бикарасов гнилости в перезревшем говяжьем бульоне. Я точно этим не питаюсь, не думаю о бессмертии, великой миссии или на худой конец Нобелевской премии. Черт знает, что я такое, но совершенно определенно не человек, которого надо вести в анатомичку литинститута, для выяснения путем препарирования печеночно-селезеночных секретов олимпийца. В общем, давай проще, целый ком эмоций, ощущений, зрительных образов, которые отягощали меня долгие годы, действительно ушел вместе с «Игрой». Неизбывная гэбуха, русско-еврейская чесотка, симулякры литературного ремесленничества – все это больше меня не потянет к текстовому редактору. В этом ты прав. Отрезано. Этап.

А.Ч.: Это на самом деле важная, как мне кажется, тема – зависимости и независимости от литературной тусовки, продвигающих и враждующих кланов. Согласен ли ты, что что-то настоящее может быть написано только в стороне от этой тусовки, даже, возможно, вопреки ей? Ведь «что скажет княгиня Марья Алексеевна» нынешних литературных кланов – это отчасти такая light версия самоцензуры.

С.С.: Ох, а что такое «настоящее» в наш век цветущего многообразия? Исчезновения точек отсчета и координат? Абсолютные понятия, в том числе и понятие о некоем «настоящем» возможно только в системе с ограничениями, несвободной, а мы-то, ого-ого, вольны как ветер, и это великое завоевание лишает смысла любой смысл. Все можно, и все правильно. Княгиня Марья Алексеевна имела право и могла судить, потому, что не была животным, а мы так долго бились за святое право, исконное, мяукать, бляеть и ножку публично задирать, что ныне любая попытка указания долженствования в этом развеселом свинстве волей-неволей выйдет самым последним, отдельно взятым Бердичевом, с возможностью в нем построения социализма. В общем, за отсутствием понятия как такового, я поднимаю руки. Нет у меня ответа на вопрос.

А.Ч.: Т. е. полная свобода от (так или иначе навязываемых) конвенций, так что мы скорее говорим об одном. Есть еще определенное влияние издательств, пропорциональное их размеру. Сейчас литературный мир замер в ожидании и упражняется в аналитических прогнозах – что последует за поглощением/слиянием двух левиафанов, «АСТ» и «Эксмо». Что станет с отечественным книгоизданием, каков твой прогноз?

С.С.: Нет, мы совершенно о разном. Качели Фома-Ерема. Ты об общественном, а я о частном. Я очень конвенциональный и внутренне очень негибко организованный человек, что-

то вроде тайного иезуита в елизаветинской Англии. Весь в путах. Это называется придурком в нынешней России. Такой со всех сторон округлой, всеядной и самоуверенной. В результате меня натурально выталкивает из современного культурно-социального раствора, то есть, мы неберучки оба. Я не способен не то, чтобы растворяться в этом, просто линять слегка, чего-то отдавая, и среда меня в себе не держит, как кукурузное зерно кишка. А ты спрашиваешь про «АСТ», про «Эксмо». Да я не знаю, кто это и где. Мне усилие требуется, чтобы сообразить. А, вспомнил! Объединяются? Ура! Разъединяются? Ну, наконец-то, поздравляю. Весь современный культурный процесс и все его тренды, включая книгоиздательский, для меня столь же абстрактны и потусторонни, как для читателя брежневского журнала «За рубежом» Чикаго. Слово красивое, и все. Говорят, французского происхождения.

А.Ч.: Но все-таки в каких-то премиальных сюжетах ты участвуешь, то есть, по твоей терминологии, слегка линяешь. Скажи, пожалуйста, признание в виде литературных премий вообще важно? Для тебя лично?

С.С.: Нет, я не участвую. Меня участвуют. И при этом ни в каком виде не признают, что я нахожу совершенно естественным. И правильным. Ведь я во всех смыслах предатель народных интересов. Все на коне, а я чего-то лежащее уныло. Все спотыкаются и недоумевают, какого черта лысого? Откуда он такой взялся, «окаменевшее дерьмо замшелых лет», в час совершенства и наивысшего подъема? Полной и абсолютной ясности во всем? Что за отсутствие желания взять, когда все на открытом доступе? Наливай и пей. Позор изменнику времени и его духу. Осознаю. Все так. Самому стыдно.

А.Ч.: Вот про предательство народных интересов я хотел бы с твоего позволения уточнить. В твоей последней на сегодняшней день книге – сборнике статей «Ушки» – сильна, на мой взгляд, тема кланности, был у тебя даже призыв всем хорошим («вменяемым», как сейчас бы сказали) людям литературной страты, а может даже и интеллигенции, объединиться, вместе противостоять ценностной энтропии наших дней. Призыв этот прозвучал со страниц «Русского журнала» довольно давно – сейчас наступило некоторое разочарование в самой этой возможности?

С.С.: Все это писалось и публиковалось в «РЖ» с двухтысячного по две тысячи третий, когда еще существовало то, что всегда порождало читателей – университеты, система образования. Последние деньки тех золотых времен, когда доценты с профессорами сами покупали книги, а не выпрашивали у авторов. А ныне и эта последняя стадия позади, теперь они даже в библиотеках не крадут. Не надо книг. Не надо этих кирпичей системы чувств и свода знаний. Каждый сам себе режиссер. Живем моментом. Вот ты, недавно в «НМ», перечислял список моих героев – Селин, Шаламов, Гашек. Я их люблю, это правда, но не завидую. Зависть у меня лишь к одному писателю на свете – Ивлину Во. Вот кем бы я хотел быть, да только кишка тонка. Абсолютное все – и чувство долга, и мастерство и убежденность. Католик. А мы то, что? Цветем в эпоху, так утраченной Во, но победившей относительности. Все можно и все правильно. В консульской анкете вопрос «пол на момент заполнения» – это и есть памятник Маяковскому, страстно взыскующему чего-то «построенного в боях». Ну а я, нет, не изменился. Я же сказал, кремень. Просто понял, что смешон, нелеп и неуместен. Осознал. Кто-то добрый недавно совсем по-детски намекал, типа, из будущего, не знаю, не уверен, но, точно совершенно из прошлого. Давно прошедшего. Перфекта. Плюсквантум.

А.Ч.: Насчет католиков, кстати, да, я одно время тоже их много читал и ими поддерживался – одни Пьер Тейяр де Шарден и Габриэль Марсель чего стоят. Хотя этот внутренний

стержень от веры скорее. Но Шаламова и Селина поддерживала не религия, а какое-то другое внутреннее мужество, когда оба стали жертвами – сталинизма (Шаламов) и фашизма (Селин, в итоге). Для тебя тоже важнее скорее это человеческое мужество, а не вера?

С.С.: Страдания – для меня все. Селина и Шаламова, отбрасывая сходство чисто внешнее, – оба выдающиеся стилисты, объединяет мука, испытание, беда, которыми оплачено каждое написанное в их книгах слово, фраза, абзац. Разница лишь в том, что Шаламов не хотел этих тяжелых испытаний, не искал и не стремился, они его нашли. А Селин – мальчик из хорошо устроенной мещанской семьи, учившийся в разных частных школах за границей, прекрасно игравший на рояле, со светлым будущим управляющего экспортом-импортом какого-нибудь парижского ювелирного дома, сам сунул голову в кошмар. В начале, да, война нашла его, примерно так же, как заплечных дел мастера Шаламова, но в тридцатых, он, один из самых успешных уже писателей тогдашней Франции, придумал сам себе пытку и кару. Пожизненную. И сделал это, если не вполне сознательно, то инстинктивно и безошибочно, как писатель, страшившийся иссохнуть, умереть в покое. Результат – непревзойденная военная трилогия. И ненависть на все времена.

А.Ч.: Кстати, о Селине. Ты много писал, выступал в Сети против существующих переводов Селина на русский. А вообще по большому счету – прочитан ли Селин в России? Мне кажется, он, увы, среди тех авторов, которые то ли поздно пришли к нам, то ли просто не попали в нерв достаточному количеству читателей...

С.С.: В известном смысле здесь, в России, с ним все произошло именно что по-селиновки, не так, как надо, и не тогда, когда бы следовало. Шиворот-навыворот. С издевкой, мукой и тоской. Если же говорить о качестве бродящих вокруг, как это ни смешно, ныне единственно официально разрешенных текстов, то мы, кажется, единственная на свете страна с собственным алфавитом, где вся селиниана началась и закончилась первым тиском. Мертворожденным от местных производителей оказалось все, включая даже такой вневременной шедевр, как «За замком замок». И это безнадега надолго, потому что ныне предусмотрительно и на все сто защищена авторским правом. Люди же, приватизировавшие в нашей стране Селина настолько ортодоксально, то есть по убеждению, неумны и ограничены, настолько ничего больше за душой не имеют, кроме украденного у нас у всех «милого», что говоря им правду, ощущаешь себя даже не хладнокровным клиницистом, а хуже, садистом, гадом, жестоким и бессмысленным мучителем полужверьков в приюте для детей-калек. Я больше не могу и не хочу.

А.Ч.: И еще о переводах. Ты сейчас готовишь комментарии к Гашеку – выкладываемые в твоём ЖЖ, они обсуждаются. Я понимаю, что ты скажешь «Гашек вечен», но все равно спрошу – может быть, он актуален сейчас еще и потому, что новокапиталистическая наша страна активно возрождает советский бюрократизм, в виде ягодки на вершине торта венчая его новыми механизмами контроля?

С.С.: Нет, Гашек умер. В январе 1923. От сложного букета заболеваний, разрушивших его легкие и печень. Это его Швейк вечен. И всегда актуален. Потому, что не герой даже, а сама жизнь, вот какая она на самом деле есть, смешная, подлая, а если добрая, то лишь на одну секунду, всегда случайно, но день за днем абсурдная, тупая и неизбывная. Непобедимая, неодолимая, великая. В этом сила книги, всеобщей, всеобъемлющей и общеупотребительной, как советское «Домоводство». А вот к частностям, к современности в ее преходящих формах, ты меня зря толкаешь. Я, в отличие от многих моих товарищей по цеху, не думаю, что мир начался с моим рождением, тем более, что я сюда специально послан с великой миссией его

исправить или спасти. Чего бы и с чем бы не рифмовали в передовицах «Собеседника», все было, есть и будет в этом мире по Швейку. Как было в Древнем Египте, как было в Древней Греции. Как было в Иудее или Риме. Тысячи и тысячи лет до нас и будет после нас. Не сомневайся. Все беды человечества не в особенностях какой-нибудь социальной формации, а в неизменности и неисправимости человеческой природы. Хотя, конечно, советский коммунизм так мерзок был и противоестественен, что на какую-то историческую секунду и заслонил собой, подменил первооснову и суть всех прошлых и будущих невзгод. Человека. Нас самих. Красавчиков. Сейчас, прямо скажем, полегче. Котлеты и мухи, слава Богу, в разных тарелках, не перепутаешь. Случайно не проглотишь.

А.Ч.: Возвращаясь к «Игре в ящик», от которого мы довольно далеко отошли, но отчасти и вернулись проселочной дорогой в коммунистический колхоз под названием «Светлое будущее». Сейчас, уже давно прочитав книгу¹¹, я подумал – не могло ли бы у нее быть продолжения? Твои герои родом из 70-х, эпохи, которой ты посвятил, пожалуй, больше всего своих вещей («Шизгара», «Самая мерзкая часть тела»), распрощались с Брежневым и почти встретили Горбачева, то есть шагнули в максимально для тебя приближенную к современности эпоху. Нет ли у тебя желания продолжить описание их пути, написать о перестройке или о 90-х?

С.С.: Видишь ли, дружище, мои желания, как коммунистическая свобода – всего лишь навсего осознанная необходимость. То есть, я не могу писать тексты о чем-то или о ком-то, сочинять, я не беллетрист и не художник слова, тем более не инженер человеческих душ. Я такой генетический каторжник, то есть живу, живу и самим своим существованием натягиваю на загривок одну за другой статьи тактильно-осязательного кодекса, как следствие нечто содеянное или само собой упавшее на меня гнет, ломает, беспокоит, и в конце концов, чтобы освободиться, вздохнуть, я сажусь писать чистосердечное признание, кому не знаю сам. Так что, не обладая в этом смысле свободой воли, я никоим образом и не решаю, и не определяю, о чем и как пойдет беседа. Что накопится, то и выльется. Но думаю, по логике того, что старое, как ты верно заметил, уже у меня за спиной, новое, определенно, явится из культурного слоя посвежее. На полсапога повыше того, где были черепушки кафе «Льдинка» и бронзовые наколенники Института горного дела им. А. А. Скочинского.

А.Ч.: В начале разговора ты сказал, что с помощью «Игры в ящик» распрощался с гэбухой и прочими советскими темами. А вообще СССР тебя «отпустил»? По расцвету советологии и все нарастающему количеству романов из того времени кажется, что некогда ненавистный Союз станет в ближайшем будущем тематическим хит-мейкером в отечественной словесности, в чем, как в очередной раз сказали бы те же советологи, проявляется «работа с памятью», «травматическим опытом», etc.

С.С.: Да, это больше не болит. За будущих хит-мейкеров я заранее рад, но сам я где-то в середине нулевых. Там, где университеты окончательно превратились в ПТУ, а учителя в ловчил. Но это ведь опять Бердичев. Неинтересное. Давай спроси лучше про кино.

А.Ч.: А о каком кино ты хотел бы поговорить? Я, в общем-то, хотел спросить про то, с чем ассоциируется у тебя то время. Ассоциации копятя человеческой памятью, а для тебя и вообще важна, мне показалась, такая тема виртуального коллекционирования. В ранних вещах это была музыка – зарубежная, запретная, трудно обретаемая и страстно тобой описанная.

¹¹ Чанцев А. Рец. на книгу С. Солоуха «Игра в ящик» // OpenSpace.ru. 2011. 19 июля (<http://os.colta.ru/literature/events/details/23692/>).

В «Игре» – это первые просачивания на наш черный рынок, «толчки» и букинистические, западных непереуведенных изданий, описанные не менее любовно и тактильно. Рок, книги с аутентичным английским текстом, перфокарты твоих автобиографических героев...и кино?

С.С.: Прости, не понял, какое это время «то». Но, впрочем, и не важно. Любое время ассоциируется у меня со смертью. А все остальное лишь разные уловки, способы уйти от этих мыслей и ассоциаций. Что же касается кино, то я тебя просто дразнил. Я презираю и ненавижу кинематограф – высокобюджетную сестрицу цирка. Понимаешь, литература – наверное, единственное ненасильственное искусство. Мало того, что книгу можно читать в любом нужном тебе темпе, с любого места, в любом направлении, когда угодно, но как при этом свободно и вольно главное по сути – воображение читателя. Только нам людям присущее свойство, воображать и фантазировать, творить, доделывать, домысливать. А кино всегда подчиняет, насилует и ведет строем. Ать-два. Дает всему единственный, законченный и мертвый вид. Выедает, уничтожает мозг. Делает придатком аппарата. Поэтому по природе своей людоедство – жульничество, ложь и пакость. Механический антипод культуры слова. Между прочим, ты почитай ЖЖ, о чем пишут люди литературы, о кинематографе, чаще и больше всего, а ведь это по сути своей готовый анамнез и диагноз, желания и страстной готовности самоуничтожиться. Не перековаться даже, а перевариться. В этом смысле мне не забыть церемонии вручения «Большой книги» 2012, которую ты в самом начале упоминал зачем-то. Там все было построено на идее того, что для всех лауреатов высшее и последнее желание – воплотиться в целлулоиде. Грязными разводами на дохлом пластике. Этакое счастье прилюдного группового изнасилования антропофагами. По-моему, великолепная иллюстрация исчезновения всех смыслов и понятий в той среде, что называется культурной. Наглядней и не придумаешь, праздник книги, оформленный как ее поминки.

Александр Мильштейн. Расшифровка бетонных снов

Александр Чанцев (Москва), у которого только что вышла в Нью-Йорке книга «Время цикад [Revisited], поговорил с Александром Мильштейном (Мюнхен), у которого в Москве выходит книга «Контора Кука», о преследовании Кристиана Крахта, «харьковской школе», венецианских кладбищах, прозе-сне и кинороли Набокова.

Александр Чанцев: Саша, начнем почти с самого начала – ты родился в Харькове. Мы знаем подростково-негодяйский Харьков 60-х по трилогии Лимонова, мы знаем Харьков 90-х и начала 2000-х по «Депеш Мод» Сергея Жадана, чьи герои были «потерянным поколением» не меньше, если не больше, чем их российские коллеги-«паДонки». А каким был Харьков твоего детства и юности?

Александр Мильштейн: It's something in between, I guess... Sorry, это просто первое, что пришло в голову, когда прочёл вопрос... И это, конечно, не так, хотя в пространственно-временных координатах чем-то похоже на правду: Лимонов и, соответственно, его Харьков старше меня на 20 лет, и я, кстати, был поэтому заморожен, читая, кажется, «Молодого негодяя», где действие происходит как раз в том году, когда я появился на свет. Жадан – младше на десять лет. Более того, до недавнего времени Сергей жил на самой дальней – Северной Салтовке, пока не переехал в центр города, Лимонов жил давным-давно в другом конце Салтовки, или точнее, начале, как известно, в Салтовском посёлке – эмбрионе гигантского жилого массива... Вот, а посередине – в 608-м микрорайоне жилмассива жил-был я – с 7 до 32 лет. До семи – в самом центре, на углу Данилевского и Сумской, во дворе Текстильного техникума, где моя бабушка работала бухгалтером, и поэтому вся семья получила возможность там проживать в пристройке, без всяких, даже самых элементарных «удобств», как в деревне, хотя всё-таки в городе были свои плюсы – в душ мы ходили с отцом, когда я немного подрос, в гостиницу «Харьков», это там рядом. Родители отца жили в одной комнатке в коммуналке, а родители мамы, когда вернулись после войны в Харьков – дед из-под Берлина, где его тяжело ранило, и привёз его в Харьков полуживого ординарец... А бабушка с детьми – из эвакуации, из города Кургана... И вот, они нашли вместо своего дома – руины, и были рады, конечно, когда смогли поселиться хотя бы где-то – в пристройке техникума, который тоже вернулся из эвакуации... Под нами в полуподвале стучали текстильные станки, рядом была за стеной большая аудитория, проходили студенты в неё не через нас, но была от нас туда дверь, которая никогда не открывалась, но как-то открылась, и я заглянул в параллельный мир... В общем, там они – а с 1963-го и я вместе с ними, и жили до 1970 года, пока не получили «изолированную квартиру», как это называлось, на «краю света», как тогда говорили о Салтовке. О Харькове того времени я могу говорить бесконечно – и я довольно много описывал Харьков своего детства в книгах и продолжаю это делать – и в романе, который сейчас дописываю и, например, в повестях, составивших «Кодекс парашютиста» – книгу, которая подготовлена к выпуску и должна, по идее, вскоре выйти в харьковском «Фолио». В каком-то смысле я просто там и остался – в бетонном бункере огромного салтовского двора и до сих пор только и делаю, что расшифровываю «сны бетона», смайл.

А.Ч.: Сны о том, что ты «проходил» в «харьковской школе»¹² – школе литературной, настоящей и жизни...

¹² Заглядывая за край. Беседа Андрея Краснящих и Александра Мильштейна // Новая литературная карта России. 2009. 13 апреля (http://www.litkarta.ru/dossier/zagl-za-kray/dossier_17263/).

А.М.: Да, о детстве на Салтовке как о школе жизни я написал довольно подробно в повести «Скло»... В то же время, я помню, конечно, и раннее детство вне Салтовки, в центре и как бы даже – посреди совсем другого, прекрасного на самом деле, города, и, может быть, как раз потому что я так рано оттуда уехал, он кажется каким-то... абсолютным раем. Как тебе, наверно, Москва твоего детства, да? Я вот только сравнительно недавно открыл для себя другую Москву, не Новоарбатско-туристическую, а такую же примерно, как Старый Харьков – где-то возле «Билингвы», впервые попал в такие же сказочные переулки, Кривоколенный и др., только четыре года назад, когда вышла книга в «ОГИ», и я туда заехал, и там побродил, а потом и по окрестностям Чистых Прудов, мне казалось, что я в Харькове... Был и в Китай-городе, если не ошибаюсь, там находится «Нейтральная территория»... Джапан-сити в Москве, кажется, нет, да и Китай-город не Чайна-таун... А есть ли такие «московские» японцы, как в Мюнхене, – здесь много таких, оставшихся как бы на ПМЖ, или на неопределённый срок, я знаю в основном таких японских художниц, с одной из них даже поговорил когда-то для газеты – даже, потому что все мои беседы можно сосчитать по пальцам одной руки и то будет много, и я очень давно это не делал, поэтому прости за такую, скажем, недиалогичность – не могу сформулировать чётко вопрос, хотя мне всё на самом деле интересно, и твоя Япония глазами постороннего в твоих рассказах из «Времени цикад [Revisited]» (я больше слышал о ней из уст её аборигенов, один мой старый приятель, художник Тору Фудзита, вернувшийся на доисторическую родину из Мюнхена даже в прямом смысле абориген, – наполовину айну, сейчас все его художественные проекты, кстати, связаны с работой с маленькими детьми из окрестностей Фукусимы), и Москва москвичка, и твой Афганистан в рассказе «Мария и снег» – сон во сне, если прозу считать разновидностью сновидения, – был ли ты в Афганистане наяву?

А.Ч.: Оставшиеся в Москве японцы, думаю, из той же породы, что зависшие в Мюнхене – очень свободные, слегка безумные, интересные. Космополиты, международные тусовщики. То есть твой Харьков, предположу, приходит из того же волшебного набоковского рая, где летают бабочки детских воспоминаний. Так же и моя Москва. Хорошевский район, где, когда прабабушке дали комнату, только что снесли хибары-бараки и построили – те самые хрущобы. Сейчас снесли и их, возвели эти безумные разные огромные дисгармоничные дома (они, кто строят их, будто не понимают, что в этом городе жить и им! если не уедут, конечно...), бабушку переселили, а мои воспоминания – выселили... Так что, в каком-то смысле, твои детские харьковские воспоминания сохранены. И интересно, как мы сразу вырулили на тему, которую я приберегал на дальнейшее, – у тебя возник сон, у меня – аукнулся Набоков. В твоей книге «Пиноккио» не только сознательно много раз помянут Набоков, но и Германия, да и сами герои, даны, показаны в оптике сна, увидены во сне так, как, кажется, герой и сам себе снится и этот сон если не истолковать пытается, то хотя бы зафиксировать. А в цикле «German Affairs» из твоей книги «Школа кибернетики» мелькает «жизнесон», герою кажется, что он видит «черно-белый сон» другого персонажа, сказано, что «если вычесть сон, подумалось, что моей новой жизни не было еще и трех часов», вообще некоторые новеллы построены как фиксация сна, как «Америка» Кафки (величайший роман-сон, может, оттого и недописанный, что сон зафиксировать крайне сложно)... Был ли такой замысел, важен ли для тебя сон-проза?

А.М.: «...Это похоже на то, как лежит человек в Харькове на своей тахте, на Салтовке, и то ли снится ему, то ли нет... Что он в Мюнхене и сыграл с кем-то в игру „Если бы я был немцем“, придуманную когда-то Михайловым, Братковым и Солонским... Но только, скажем так, с другими картинками – потому что другие карты в этот раз были сданы...» Это автоцитата,

да ещё из другой беседы¹³, просто не мог не вспомнить, потому что – ты сказал... Набоков в романе мелькает и как тень – которую он сыграл в немецком немом фильме, а моя героиня увидела эти кадры в 3-часовом документальном немецком фильме со стрёмным названием «Моя девочка меня кормит». Кроме того, Набоков в моём романе ещё появляется как автор «Соглядатая», потому что моему герою Йенсу Айгнеру, который там ко всему ещё и Ich-Erzähler, что-то подобное мерещится, только это переносится на отца – метафизическое подозрение, скажем так... Набоковский гностицизм – это, по-моему, такая тема, в которой просто утонуть – и будет тебе сниться бабочка, которой снится, что она энтомолог и vice versa, смайл (который, кстати, изобрёл тот же Н., во всяком случае, я верю в эту легенду). Это пришло в голову, наверно, потому что я, думая, не стереть ли вот эти строки, перечитал твой вопрос, и там было «сам себе снится... то хотя бы зафиксировать...» «Я думала, что я вижу сон во сне, и вдруг я поняла, что это не сон» – это из недавно прочитанного нового романа Дженни Эрпенбек «Уже вечер», и там это вообще-то о смерти старой женщины в одной из альтернативных реальностей... всплыло в памяти сейчас, потому что само слово «сон» в письменном виде, как бы сказать, выглядит для меня немного странно... Не знаю, я помню, как немецкий «Папа литературной критики», как его называют – Марсель Райх-Раницкий, произнёс целый монолог о сне в литературе с экрана ТВ, т. е. как он это не любит – когда читаешь-читаешь, на десяти страницах идёт какой-то абсурд-неабсурд, что-то непонятное, почти интересное... А потом – «Ах!» (тут следовал этот его всплеск рук) – оказывается, это был сон. «Zu billig!» Ну то есть – дешёвый приём... Слушая его, я и соглашался с ним и нет, банально думая, что это зависит от того, кто пишет – кто спит, «сны те вещи или зловещи...» В чём-то согласен с Райх-Раницким, читать такие «сонники» бывает скучно с какого-то момента, вспомнил сейчас, что моя первая тетрадь для внешкольных сочинений – красивая такая, как бы даже книга в твёрдом переплёте, продавались тогда уже такие, с чистыми мелованными страницами – называлась «Книгой для записи снов», причём первые три слова были просто напечатаны на красной обложке, а «снов» я дописал, или как бы даже продавил ручкой, да, и писал туда стихи... Вот, и после того, как я перешагнул оттуда в прозу, мне тоже хочется, ну что ли, вынести слово «сон» – за скобки, как это происходит и в жизни, кстати, т. е. если и остаёшься при своём «жизнь есть сон», то об этом ведь не вспоминаешь поминутно и не напоминаешь другим, не правда ли. В романе «Контора Кука», который должен вскоре выйти книгой в Москве, всё начинается со сна – герою снится, что он видит себя в зоопарке в своём родном городе – в клетке, хотя он же при этом и посетитель. Но дальше снов в романе я вот так навскидку даже и не вспомню – есть ли там ещё дальше сны... в то же время, это та же галлюцинирующая материя, конечно, что и в «Пиноктико»... В общем, сон – за скобками, «нет снов – и всё сон», как «ни души и всё – душа», как-то так... В первой книге у меня был такой рассказ – «Город-герой», прости, конечно, автоцитаты – это последняя стадия маразма, факт, но раз уже начал, так и закончу – summing up: «Спать не хотелось. Почти. Так же как не хочется пить в воде». Я не настаиваю, чтобы ты непременно ответил на мой предыдущий вопрос об Афганистане, был ли ты там наяву, сон настолько интенсивно написан, что, скажем так, вопрос снимается, и – это как раз пример для меня того, что можно назвать «сон как текст». Я не знаю, по правде говоря, хочешь ли ты говорить на эту тему дальше – вспомнилось вот, что недавно сообщали о том, что «японские учёные», да-да, близки уже к тому, чтобы записывать сны буквально как видео, какими-то своими сверхтомографами... Это напомнило длинный фильм Вендерса «На краю света», фильм неудачный и скучный, но там есть просто эта тема – герои записывают свои сны, днём смотрят их, и больше, собственно, с тех пор, как к ним в руки попадают эти приборчики,

¹³ Краснящих А. «Это похоже на то, как лежит человек в Харькове на своей тахте, на Салтовке, и то ли снится ему, то ли нет, что он в Мюнхене». Беседа с А. Милыштейном // Новая литературная карта России // 2009. 20 марта (<http://www.litkarta.ru/dossier/milstein-intr/>).

они ничем не занимаются, такая ловушка, замкнутый цикл – не очень-то жизненный... Вот, чтобы и нам с тобой в него не угодить, необходимо, по-моему, сменить пластинку, но выбор её я предоставляю тебе, Саша.

А.Ч.: Извини, что не ответил об Афганистане – если бы я там был на самом деле, то, возможно, не разговаривал сейчас с тобой, смайл (да, я тоже верю, что именно Набоков его впервые использовал, но циничные люди говорят, что это был все же Франклин Лауфрани, а вообще, если ты вспомнил Вендерса, то можно вспомнить и «Портовый город» Бергмана, где было такое стилизованное лицо, только грустящее, так что первый смайлик был перевернутым...). В смысле, Афганистан – это из тех путешествий, что могут, как в «1979» Крахта, где героя из Ирана приводит на Тибет, оттуда в просветление и китайский концлагерь... Кстати, за последний роман Крахта «Империя» на него сильно ополчились, поносят черносотенцем и фашистом. На внешний взгляд – потому что книгу еще не перевели, и я ее не читал – это такая история, когда молодой европеизированный эстет, западник-сноб становится с возрастом, как тот же Мисима, ультра, фашизоидным почвенником. Но что именно за история приключилась с Крахтом? Тем более, что, как ты рассказывал, у вас с Крахтом есть и личные пересечения – он издавал тебя в своем журнале, которым он редакторствовал из Катманду.

А.М.: Да, Афганистан был как бы таким страшным сном моей студенческой юности, отчисленные из университета тогда попадали в Афган с немалой долей вероятности, например, один парень из моей группы, провалившись на экзаменах, попал в ту преисподнюю, проболел там полгода амёбной дизентерией, после чего его списали, и он вернулся живым... То есть альтернатива была – математика или война (ну или армия – которая сама по себе, как известно, была часто похуже, чем война), это вспомнилось мне не так давно и дало повод написать повесть «Вечный студент», изначальный замысел там был такой, что студент попадает в Афганистан, где он, то ли под воздействием вещества, то ли контузии, то ли всё это вместе – действует, в общем, на него так, что бывший студент вдруг понимает, как решить задачу, из-за которой он и был отчислен, но... при этом он понимает и нечто подобное тому, что осознаёт герой рассказа Борхеса «Письмена бога»: что если он сейчас решит эту задачу до конца, ему уже не будет никакого дела до этого существа, лежащего в лазарете, или просто на камнях, на скалах он лежал... Я так подробно это стал сейчас пересказывать – и, собственно, всё уже пересказал – всё, что там задумывал, вот именно потому, что повесть вырuling в совершенно другом направлении, как это бывает, стохастическая система забыла свои начальные условия – в результате там нет ни Афганистана, ни Борхеса... И вот, читая твой рассказ, я поймал себя на мысли, что именно так хотел тогда написать об Афганистане, когда был у меня этот изначальный замысел, ещё не был отброшен, хотя вряд ли у меня бы так хорошо получилось, правда...

Теперь о Крахте. Я постараюсь не растекаться, чтобы ответ не был слишком длинным. Во-первых, не далее, как вчера Крахту дали первую в его жизни литературную премию – имени Вильгельма Раабе, за роман «Империя», и я очень рад за него. Я говорил тебе уже в Мюнхене, что «ополчение» на Крахта было и вправду довольно серьёзным, поводом стала большая статья в «Шпигеле», где известный журналист Георг Диц упрекал его в самых разных «измах» – от антисемитизма до тоталитаризма, в таком примерно спектре... Но практически сразу последовал ответ Дицу в виде многочисленных статей в центральных газетах, кроме того, за Крахта сразу же «подписались» четырнадцать немецких и австрийских писателей, в их числе Эльфрида Елинек – текст которой, кстати, есть и на обложке «Империи», а уж более ненавистной для фашизоидных дебилов писательницы найти трудно... Всё это немного удивляло, скажем так, и я действительно, так же, как и многие другие «читатели газет», не знал уже, что и думать, кому верить, дискуссия в «фойлетонах» (отделах культуры немецких газет) затянулась на месяц, что ли, и её называли самой долгой после истории с Хелене Хегеманн, о которой

я тогда подробно писал, кстати¹⁴. Понятно, что в таких случаях самое разумное – прочесть сам роман, из-за которого весь сыр-бор, и я, честно говоря, медлил это делать только потому, что предыдущий роман Крахта меня несколько разочаровал, то есть какое-то время представление об «Империи» у меня в голове было создано чужими мнениями, а я сам «Пастернака не читал», и в сумме казалось, что что-то там есть на этот раз всё-таки, какая-то подлянка на дне, в какой мере только неизвестно. Но «дыма без огня не бывает»... И вот, Саша, я наконец прочёл роман. После чего, во-первых, я абсолютно согласен с Крахтом, который сказал в передаче «Druckfrisch», что, как ни напрягаться, там, с его точки зрения, «просто невозможно увидеть никакой свастики». Более того, я не знаю других произведений Крахта, где эксплицитно были бы высказаны вещи, связанные с холокостом, например, после сослагательного как бы наклонения истории – если бы пуля пролетела чуть иначе и попала бы таки в того ефрейтора на первой мировой, «моим бабушке и дедушке не пришлось бы отводить глаза и делать вид, что они не замечают на вокзале людей-призраков, которых транспортируют в никуда...» Но далее вообще уже стало странно – вспоминать нападки Дица, потому что герой Крахта – Аугуст Энгельхардт, будучи ещё в своём уме, с большой вероятностью (случай остаётся до конца не выясненным, но автор довольно недвусмысленно даёт читателю понять, что это сделал А.Э.) разможил голову – кокосовым орехом, конечно, чем же ещё... персонажу, которого Крахт наделяет сразу несколькими отвратительными чертами, и одна из них – антисемитизм. Что до «конепирологических антисемитских прозрений» самого Энгельхардта – они посещают беднягу уже ближе к концу романа, и перед этим автор рисует достаточно красочную картину сползания своего героя в безумие, это так же чётко прописано там, как, скажем, скетч на выжившего ефрейтора – «комедианта с зубной щёткой над верхней губой», сходство которого с Энгельхардтом автор, впрочем, подчёркивает в тексте романа, а на вопрос ведущего «Druckfrisch» Дениса Чека, так что же всё-таки общего между Гитлером и Энгельхардтом, Крахт отвечает: то, что они черпали из одних и тех же эзотерических источников, или вращались в одних эзотерических кругах... В общем, прочитав роман, я даже, грешным делом, подумал: «А не было ли это всё специально создано, как это бывает, чтобы поднять тиражи и т. д.» Но вроде бы нет, выглядело всё как-то не так, как-то очень серьёзно, натурально, Крахт отказался от всех вечеров в Германии, какое-то время обиженный не появлялся вообще нигде на публике... И всё же, как я уже сказал тебе ещё в Мюнхене, это нельзя назвать «объявили, поносят» – ведь статей в защиту Крахта и хвалебных рецензий с самого начала было на порядок больше, чем нападков... Больше не буду ничего говорить, роман, я уверен, вскоре переведут, если уже не перевели на русский – и ты сам убедишься, что по нему, во всяком случае, уж точно не скажешь, что Крахт стал «ультра, фашизоидным» – да в этом его не упрекал даже сам Георг Диц, конечно... Да, он напечатал в своё время главу из моей «Параллельной акции» в журнале «Der Freund», который два года издавал вместе с Экхартом Никелем, живя в Катманду, это бесконечно интересная история – этот их журнал, а я и так уже слишком заболтался... Скажу только, что это была самая красивая моя публикация – пять рисунков к ней сделал швейцарский художник Паскаль Штауб, очень тонкая такая графика... и когда я встретил Крахта через два-три года в одной мюнхенской галерее (до сих пор это была единственная встреча), он, узнав, кто я, сразу же спросил: «Ну и как вам понравились иллюстрации к рассказу – красивые ведь, правда?» И я совершенно искренне ответил: «Правда». Вот, я прочёл твой «Непрочтённый рассказ» и даже не знаю, я сам этим болею – саморазоблачением текста то есть, на том стою и привык думать, что за него меня упрекают только самые простые и здоровые, скажем так, читатели, а тут вот я и сам, может быть, вдруг... нет, ну не совсем – не могу сказать, что конец так уж всё для

¹⁴ Краснящих А. «Это похоже на то, как лежит человек в Харькове на своей тахте, на Салтовке, и то ли снится ему, то ли нет, что он в Мюнхене». Беседа с А. Мильштейном // Новая литературная карта России // 2009. 20 марта (<http://www.litkarta.ru/dossier/milstein-intr/>).

меня порушил, всё хорошо, что ничем не кончается, и прекрасно, по мне, что в рассказе есть антирассказ – как в книге антикнига, всё это хорошо... И всё же скажи, это был разовый такой расклад у тебя, как ты думаешь, впредь в прозе будут такие моменты автодеконструкции, или ты не знаешь – как карта ляжет, у меня это примерно так, и все зарок больше этого не делать нарушаются иногда как-то сами собой... Может быть, это всё-таки определённая болезнь, я не знаю. Когда скучно писать просто прозу, в жизни мы и так поставлены всё время в чёткие рамки, не ходим то есть по потолку, так почему бы там, где мы совершенно сводобны... Ну вот такие детские мысли, по сути, провоцируют совершать «перевороты» в прозе, похоже чем-то на то, как диджей, или музыкант, делает эффекты, двигая пластинку – turn-table... В одном рассказе, я это уже упоминал – «Город-герой», я тематизировал, вспоминал и воспроизводил слова моего учителя рисования в изостудии Дворца пионеров, который говорил, что сам лист нельзя двигать ни в коем случае... После того, как я написал этот рассказ, прошло уже очень много лет, и я продолжал, по правде говоря, двигать лист, такие вещи нельзя знать заранее. Да и я вот сейчас подумал: а почему, собственно, нет? Может быть, он нас-детей хотел так приучить, потому что дальше был бы холст, чётко зафиксированный в подрамнике, то есть это чисто технические были вещи, а в рассказе я им придал некий метафизический подтекст, связанный, наверно, с упомянутым рассказом Борхеса и с парафразом, который я не написал к нему... В общем, понимая, что такие вещи спонтанны и заранее никаких установок у тебя скорее всего нет, всё же, если ты понял мой многословный вопрос, и он не показался тебе полностью бессмысленным, мне было бы интересно, что ты думаешь об этой достаточно старой литературной «проблеме».

А. Ч.: Состояние сознания в Афгане измененным могло быть и буквально – в неожиданно сильном романе А. Волоса «Победитель» об этом есть, кстати. С Крахтом же – я правда рад, что либеральная унтер-офицерская вдова не высекла вновь саму себя...

А.М.: И кто же эта вдова? И что это вообще означает? Ну да, я могу догадаться. Всё сложно на самом деле – мировоззрение любого отдельно взятого индивида, не только Крахта, настолько бесконечно сложная вещь, что вот пусть каждый индивид в нём сам и разбирается – задачка, если и не на засыпку, то на всю жизнь так точно... Я только сказал, что в этом романе не заслужившего ничем – причисления себя ни к «унтер-либералам», ни к «убер-меншам», да и к чему бы то ни было ещё, писателя Крахта – в этом его романе не было ничего, что могло бы обрадовать одних и расстроить других... Скорее, я бы сказал, что роман представляет собой – в том числе, а может, и главным образом – пародию на тему «убер-менша». Не совсем в духе «Великого диктатора» – но что-то есть, если не чаплинский, то всё-таки склоняющийся порой к языку детских книг – язык, недаром сам Крахт в интервью говорит о том, что он хотел написать «кэстнеровскую» книжку и всё это у него ещё и оммаж Эриху Кэстнеру, а это классик вот именно детской и юмористической литературы... Кроме того, Даниэль Кельман где-то говорил о том, что Крахт прислал ему первый экземпляр «Империи» с благодарностью, имея в виду, что он использовал несколько и его «Измерение мира», тоже отчасти детско-юмористический, как мне кажется, «комиксно-комический» роман... И сквозь всё это проходит безошибочно-манновский мотив, вот это вопрошание-обращение, а помнит ли читатель ещё нашего смешного, нелепого Sorgenkind'a, т. е. дитя, внушающее беспокойство, как-то так... И это только – две или три аллюзии, которых в этом небольшом романе на самом деле чуть ли не бесконечно много, это интересное письмо, очень лёгкое – как сказал вручавший Крахту давеча премию Раабе человек, «доказывающее, что летать – это не просто быстро бежать», письмо, ничего общего не имеющее с тем мрачным образом, который мог создаться у прочитавших статью Дица – где, впрочем, тот писал не только об «Империи», но и попытался нарисовать собственноручно картину мировоззрения Крахта в целом – получилось довольно-таки

глупо и примитивно... В интервью Денису Чеку на вопрос о том, правильно ли тот понял, что под «империей» в романе подразумевается, де, не только нацистская Германия, но и Америка, Крахт прерывает его словами: «Да-да, но это же как раз хорошие!..» И ещё говорит о том, что рад, что его не удалось «вытолкнуть за пределы демократического дискурса», который ты, по-видимому, и называешь «у.-о. вдовой», смайл. В общем, понятно, кого я имею в виду – и под теми, и под другими... И мне кажется, что я понимаю тебя, когда я где-то в фэйсбуке цитирую Чорана, а ты в комментарии пишешь, что «Чоран – свой человек!», то мне кажется, что мы оба имеем в виду одного Чорана – послевоенного, эссеиста и философа, а не того, который, съездив в тридцатые годы в нацистскую Германию, долго потом не мог прийти в себя от восторга – а восторгался он там абсолютно всем, и об этом недавно вышла книга, кстати, об этой его поездке... Ну да ладно, вдова так вдова.

А. Ч.: Я имел в виду лишь неолиберальную политкорректность, все чаще выступающую в роли тоталитарной цензуры... На примере того же Чорана – из-за этих несчастных дней юношеской симпатии к «Железной гвардии» его во вполне вроде бы серьезной книге «Забывтый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран» клеймят на чем свет стоит, вообще не считая философом, предлагают сбросить с корабля современности...

А.М.: Как раз в той книге, которую я упомянул, показано, насколько безгранично-велика была симпатия Чорана, даже не к собственной «железной гвардии», а к немецким наци. В последние годы было немало подобных публикаций о Хайдеггере, скажем, хотя казалось, что там уж точно ничего нового не скажешь, да и не только о Хайдеггере... Отнюдь не требовавших сбрасывать кого-либо с корабля современности, конечно, скорее – просто помогающим всем избавиться от лицемерия, вот и всё.

А. Ч.: А продолжать темы «Непрочтенного рассказа» вряд ли, честно говоря, собираюсь. То есть мне самому было бы скучно читать такое, рассказ о том, как пишется рассказ (если бы в самом рассказе этого не было бы такой маской, маскхалатом даже для чувств что ли), потому что все эти постмодернистские кунштюки – зачатые тем же Борхесом отчасти – изрядно надоели. Это нужно все очень крепко избыть, мне кажется, деконструкцией деконструкции что ли, или перечитыванием Чехова, не знаю... И я вообще в этом плане ничего не «собираюсь» – литература не татарин, хороша как раз в качестве нежданного гостя, того, «кто приходит из снов» (С. Калугин) даже.

А. М.: Ну я так и предполагал, см. выше: «или ты не знаешь – как карта ляжет, у меня это примерно так...»

А. Ч.: Да. Вот, например, недавно «пришли» стихи, я накорябал две подборки. А я принципиально не люблю стихи, особенно современные, вообще мало читаю поэзию, считая стихи не верхом литературы, как утверждают в секте ее поклонников, а каким-то искусственным языком литературного программирования. Настоящие стихи могут быть шифровками от ангелов, но чаще всего они – маловразумительная инструкция по использованию внутреннего мира поэта, не всегда мне лично интересного. Не говоря о том, что нынешняя поэзия – слишком уж конвенциональная, конформистская вещь (востребованная слишком узким кругом читателей, она и пытается «работать» на них лишь). Это к тому, что приходит нежданное-незванное. Не будем, наверное, о поэзии, о которой вы много и правильно говорили с Михаилом Гиголашвили¹⁵ (кстати, когда я летел в октябре в Мюнхен, а до этого еще в сентябре побывав в Тбилиси,

¹⁵ Беседа без оглядки: Александр Милынтеин и Михаил Гиголашвили сели и поговорили // Частный корреспондент. 2010.

то как раз взял с собой его «Толмача», которого как-то пропустил в свое время, – это уже в тему, что книги действительно приходят, когда нужно). А ты упомянул графику Паскаля Штауба, в том же Мюнхене показывал нам Дом искусств, Пинакотеку. Мне почудилась в подтексте у тебя мысль, что это визуальное искусство, инсталляции тебе видятся обладающими большими инновационными возможностями на данном этапе, чем пенсионерка-литература. Это справедливо в отношении Европы, в целом или мне просто показалось?

А. М.: Странно, мы встретились в Мюнхене как раз потому, что ты передал мне книгу прозы поэта и, по сути, стихи – нашего общего знакомого, что, естественно, не означает, что ты любитель стихов, но я как-то автоматически, наверно, перенёс... Но неважно. Тем более интересно, что ты написал, может быть, ещё почитаем поэзию Чанцева. Но ты предлагал не сосредотачиваться на этой теме, окей. Ответ на вопрос: нет, мне не кажется, что визуальные искусства обладают большими инновационными возможностями. Там есть свои периоды, свои циклы, это легко заметить – что несмотря на то, что все эти практики так молоды, казалось бы, там тоже пони бегают по кругу... А я показывал вам Дом искусств и пинакотеку просто потому, что это можно показать, вот и всё. В Литературном доме тоже бывают выставки, но это не так, как правило, интересно, особенно если человек в Мюнхене один день. Я сам там редко бываю, последний раз – на выставке, посвящённой 100-й годовщине смерти Толстого, вот вспомнил, я ещё переводил с немецкого речь профессора Мюнхенского университета Ренаты Дёринг-Смирновой – перед собравшимися русскими гостями, среди которых был и Владимир Толстой, и речь её была довольно интересная, кстати, чего не могу сказать о самой выставке, запомнились только какие-то искусственные берёзки... Не думаю, в общем, что вы хотели пойти в Литдом вместо Дома искусств. Я вот вспоминаю выставку Ай Вэйвэй¹⁶ в этом самом доме – и вот я помню, что, то ли он сам это говорил на открытии, то ли это были такие листочки в рамочках с его текстом, среди фотографий и прочего, а может, и то и другое – смысл в том, что после всего, что он «навалял» – а это правда много и широко, спектр – от стадиона «птичье гнездо» (концепт его) до скульптур, которые, я думаю, никто уже и не сосчитает, как те семечки, которыми он покрыл не так давно пол какого-то музея... И вот, он там писал или вещал, неважно, что понял: больше всего ему хочется писать прозу, что словесность – высшее из искусств и т. д. Я не знаю, стал ли он писать после этого, мы больше видим его прежнюю ипостась – художника и диссидента... Но понятно, в общем, к чему я это сказал. Повторю: я не думаю, что пенсионерка-литература обладает меньшими возможностями «прорухи», отнюдь... Другое дело, что как-то кармически я лично попадаю всегда в компании художников, а не писателей, так было и в Харькове и в Нью-Йорке, и вот теперь, стало быть, в Мюнхене... Мои сюжеты, соответственно, иногда тоже связаны с искусством – ты прочёл «Пиноктико» и тебе это не надо говорить, да... «Параллельная акция» – это больше о фотографии, как и «Контора Кука», кстати... В таком режиме – what you see is what you get – писателю вообще легко существовать, особенно такому акынному, как я, существует, правда, также и опасность, что живя и общаясь с художниками и в реале и на бумаге, пишущий в какой-то момент отождествит себя... ну т. е. вообразит, что он и сам художник. Но пока в этой шутке для меня большая доля шутки, чем судьбы: я пишу роман, в котором мой герой в последней главе, может быть, и станет художником. А может, и не станет – заранее, как мы знаем с тобой, ничего не известно... Так же, как и в жизни, конечно, но мне кажется, что я так и останусь в этой роли наблюдающего за наблюдателями. Арт здесь просто сливается с жизнью, он не сводится ни к материальным целям, ни к необходимости как-то для самого себя оправдывать своё существование, он просто сли-

3 мая (http://www.chaskor.ru/article/beseda_bez_oglyadki_16876).

¹⁶ *Мильштейн* А. Хаос, Вэйвэй и Haus der Kunst // Частный корреспондент. 2010. 14 января (http://www.chaskor.ru/article/haos_vejvej_i_haus_der_kunst_14062).

вается с городом, с его жителями, кажется иногда, что слова Бойса «Каждый человек – художник!» здесь буквально воплотились в жизнь... И я не думаю, что это мне только так кажется от того, что я с кюнстлерами в основном и общаюсь, нет, такое впечатление могло бы создаться у тебя, например, во время дня открытых дверей галерей какого-то района города, когда буквально каждый второй дом, каждый десятый подъезд – помечены воздушными шариками, или ещё как-то, и это значит, что там – галерея, и в ней открыты двери, туда можно зайти, что и делают толпы людей, кочуя от одной открытой двери к другой... Не все художники, конечно, так хорошо воспринимают толпы, проходящие сквозь них, один мой знакомый видео-кюнстлер в такой день придумал такую вещь (а галерея, в которой он и живёт, дана ему как бы городом, и он не может, скажем, отказать в «открытых дверях»): поставил на пороге подзорную трубу на штативе, видео его шли на маленьком сравнительно экране, другого у него нет, ну то есть несколько и все небольшие, и вот проходящая мимо дома толпа могла поочередно заглядывать внутрь его жилища – непосредственно на экран с его работами, не переступая порога... В общем, я в самом деле могу долго говорить на эту тему, описывать скопившиеся в моей голове арт-объекты, содержимое галерей и ателье друзей-художников-ведь на самом деле я шутил, и в рассказы и даже в романы ничего такого не помещается, ну или редко – или по габаритам на проходит, или контекст не тот, и ты скорее придумываешь для героев, если уж они у тебя художники, что-то их собственное, от чего и может, как я уже тоже сказал, возникнуть опасение, что отождествишься, и окажется, что в каждой шутке... т. е. что слова Бойса окажутся вдруг верны и по отношению к тебе самому. Но нет, пока что это только какая-то отдалённая, абстрактная и от того не страшная ни для кого угроза, смайл.

А.Ч.: Да, я тоже выступаю за литературу полностью, хотя и понимаю, что музыка все же выше и ближе к Богу, кино, возможно, – живее сейчас, а той же архитектурой можно говорить с людьми в пробках, на работе и на свиданиях, каждый день, чаще, чем буквами, нотами и кадрами... Мы уже много говорили о странах и вспоминали Мюнхен – какой ты увидел Германию после Харькова, какой она видится сейчас, когда ты столько прожил в ней?

А.М.: Не знаю, что сейчас живее всех живых, кино тоже столько раз уже хоронили за последнее время, что я уже сбился со счёта, а читает вот, говорят, из-за интернета – молодёжь, как ни странно, всё больше и больше... Впрочем, тут я уже точно не скажу ничего нового. Как и о Германии – отвечая на твой вопрос, ещё и потому, что всё, что мог о ней сказать, написал в «Параллельной акции», которая целиком ещё нигде не выходила, а по отдельности или по две-три главы выходили в основном в бумажных изданиях, как-то «НАШ», «Даугава», тот же «Der Freund» Крахта, где-то ещё... Какой я увидел Германию после Харькова? Дело в том, что перед тем, как попасть в Германию, я побывал в Израиле и в Нью-Йорке, и там и там – по гостевой визе, но при этом зависал довольно-таки надолго, в Израиле живя в основном у родственников, в Нью-Йорке – у самых разных друзей и подруг, и там и там – по три примерно месяца, так что у меня были уже две такие отдельные «нехарьковские жизни».

В обоих случаях я летел в незнакомую страну со своими стереотипами о ней, клише, созданными тогдашним телевидением, рассказами знакомых и т. д., и оба раза все эти клише в первый же день были полностью опрокинуты первым же выходом в город... И вот так же было и в Германии, куда я вообще не хотел ехать, сопротивляясь до последнего момента решению своей бывшей благоверной – в основном из-за этих самых клише, на этот раз ещё более мрачных, чем в предыдущих двух случаях – по понятным причинам: русско-еврейско-немецкая тема... Всё это полностью рассеялось при первом же выходе в первый немецкий живой город – Нюрнберг, очень красивый город, отстроенный, в отличие от Мюнхена, полностью в своём первозданном, в смысле, добомбёжечном, виде. Но даже не камни в большей степени... а лица – лица людей вокруг меня, вот что растворило стереотипы в тот день раз и навсегда,

не оставив от них и в самом деле – камня на камне... Я не говорю сейчас, что это какая-то идеальная страна, что на неё нельзя вообще взглянуть по-другому, страна ведь всегда – это ещё и зеркало, не так ли... Просто тем моим представлениям – харьковским, она оказалась не соответствующей вообще никак... Но это всё тоже – очень упрощённо, конечно... Вспомнил вот сейчас, как мой дед, которого я упоминал в начале нашей беседы, рассказывал мне о Германии – с каким восхищением и удивлением, которое, казалось, не прошло и через столько лет после войны – о домах, которые они видели, проходя мимо них со своими пушками, о немецкой аккуратности и т. д. Что-то похожее я прочёл недавно в романе Дженни Эрпенбек, которую тоже уже упоминал – в другом её романе, «Мания дома» – так, наверно, можно перевести название «Heimsuchung»: красноармейцы, видящие немецкие дома – недоумевают, ну т. е. думают: «Нет, ну какого чёрта, а? Ну что им ещё нужно было? Зачем, имея всё это, они полезли...» Этот же примерно вопрос я не раз слышал и от людей, приезжающих в гости, и даже не в Мюнхене, а вот когда/если выбираешься в его окрестности, т. е. в горы из предгорья, то глядя с какой-нибудь там площадки обозрения в Обераммергау... или в Унтераммергау (есть такая песенка местная, шуточная – про русских), человек не может понять – ну что ещё, имея вот это всё, можно было желать? Какой такой «весь мир»? Ладно, если без риторики... Вот вспомнил, как мы сидели в Ландсхуте (это рядом с Мюнхеном, но уже Нижняя Бавария), в тамошнем городском театре, куда я заехал, чтобы посмотреть пьесу по роману «Депеш Мод», и вот мы там сидели с Жаданом перед спектаклем, и режиссёр и художник этого спектакля рассказывали нам в том числе, что во время работы над пьесой они съездили в Харьков на три дня, чтобы посмотреть всё своими глазами. После чего они пустились в долгие восторженные описания – которые я полностью разделял, но всё же пробормотал, обводя рукой: «Ну у вас тут тоже неплохо, да?» Мы перед этим не успели дойти до знаменитого замка Траушниц, но и без замка – я был впервые в Ландсхуте, и был под впечатлением, это красивый средневековый город, абсолютно не тронутый во время войны бомбёжками... Но после моих слов и режиссёр и художник театра сразу переменились в лицах – как-то поскущнели, и кто-то из них произнёс: «Да, но это же всё у нас тут... музей». Не знаю, спрашивать ли тебя, как тебе Мюнхен, наверно, не стоит, я знаю, что он тебе – как и Гоголю, нравился только до тех пор, пока ты не переехал из него в Венецию, шутка (ну т. е. у Гоголя это был более резкий переход, конечно, и не специально с этими городами, а вообще – с Германией и Италией так у него случилось, как известно)... Или всё-таки – Венеция не смыла полностью в твоём сознании «домашнюю столицу Германии», как ещё называют Мюнхен, он же – «Город с сердцем», он же «Millionendorf», т. е. «большая деревня».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.